



## Мотив одиночества в русской поэзии: от Лермонтова до Маяковского

Л.Л. БЕЛЬСКАЯ,  
доктор филологических наук

### 1. “Век девятнадцатый, железный...”

Одинок я – нет отрады...

*М. Лермонтов*

И одиночество, боль сердца и тоска...

*С. Надсон*

Никто из русских поэтов не писал об одиночестве с таким постоянством, с такой мучительной тоской и отчаянием, как М.Ю. Лермонтов, и ни у кого оно не носило такого всеобъемлющего, вселенского и в то же время личного характера, как у него. Лермонтовские герои – alter ego автора – ощущают себя бесприютными изгнанниками, чужими в обществе, на земле и в небесах (Пророк, Узник, Демон, Мцыри, Арбенин, Печорин); “Настанет день – и миром осуждённый, / Чужой в родном краю...”, “Угрюм и одинок, грозой оторванный листок”, “И вновь остался он, надменный, / Один, как прежде, во вселенной / Без упования и любви!..”. Они посылают проклятия миру и бросают вызов Богу – “гонимый миром странник”, “с небом гордая вражда”. Символами одинокой души являются у поэта образы паруса (“Белеет парус одинокий”), утеса (“одинок он стоит”), листка (“Один и без цели по свету ношуся давно я...”), туч (“вечные странники” и “изгнанники”), сосны и пальмы (“стоит одиноко сосна”, “одна и грустна... прекрасная пальма растет”); символическим обозначением одиночества становится пространство пустыни (“жар души, растраченный в пустыне”), а сигналами этой темы – слова *один, одинокий, одиночество*, насчитывающие в лермонтовской поэзии соответственно – 532, 51 и 3 употребления (см.:

Муравьев Д.П. Мотив одиночества // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 294–295; Частотный словарь языка М.Ю. Лермонтова – Там же. С. 740; на стр. 718 указана частота семантической группы “одиночество” – от 12,8 в раннем творчестве до 9,5 в зрелом).

Многочисленные *один* у Лермонтова часто выступают в качестве краткого прилагательного со значением “отдельно, без других” (ср.: “один, как перст”, “один, как бирюк или медведь в берлоге”, “один, что верста в поле” – Даль В.И. Толковый словарь. М., 1956. Т. II. С. 651): “Но я теперь, как нищий, сир, / Брожу один, как отчуждённый!” (1829), “И все мечты отвергнув снова, / Остался я один...” (1832), “как ветер, волн и один” (1832), “Никто моим словам не внемлет... я один” (1841). При этом лермонтовский *один* означает не только отчуждение и отверженность, но и единичность, исключительность, избранничество, порой рифмуясь со словами *властелин* и *господин*: “Живу – как неба властелин – / В прекрасном мире – но один” (1831).

Определение *одинокий* поэт использует как в символических картинах, так и для характеристики лирического героя: “И я влачу мучительные дни / Без цели, оклеветан, одинок...” (1831), “Я одинок над пропастью стою...” (1831). А существительное *одиночество* употреблено им всего трижды, причем один раз в заглавии стихотворения (1830, опубликовано лишь в 1884 году), которое начинается элегическим зачином с риторическим “как” и обобщенным “мы”: “Как страшно жизни сей оковы / Нам в одиночестве влачить!”, а заканчивается ожиданием собственной скорой смерти, о которой никто не пожалеет. Наряду с этими ключевыми словами лермонтовский словарь насыщен семантически близкой им лексикой: *отверженный, отвергать; чужой, чуждый, отчужденный, чужбина; изгнанник, изгнание, странник, отшельник; сирота, страдалец, несчастный, несчастье* (“Один, покинув свет и чуждый для людей...”, “Я несчастлив пусть буду – несчастлив один”). Устойчивость образных ассоциаций и лексических средств, самоповторы как существенные черты поэтического стиля Лермонтова (см.: Некрасова Е.А. Идиостиль М.Ю. Лермонтова – В кн.: Бакина М.А., Некрасова Е.А. Эволюция поэтической речи XIX–XX вв. Перифраза. Сравнение. М., 1986. С. 151–163) прослеживаются и в раскрытии темы одиночества – в повторяющихся эпитетах, сравнениях, рифмах, глаголах: *гонимый судьбой и миром, покинутый; как ветер, как птица, как властелин; одинок – листок, одинокий – далекий, высокий; брожу один, остался один; влачу, влачить, угас*.

А был ли Лермонтов первооткрывателем этой темы в российской поэзии?

В XVIII веке поэты-классицисты не терзались в стихах одинокими горестями, а *один* применяли наравне с *единым* (в смысле “только”): “Спокойствием души одним себя ласкал: / Не злата, не серебра, но муз одних искал” и “Един бесстрастен Бог...” (А.П. Сумароков), “Одна моя

любовь не спит...” и “Едина ты лишь не обидишь...” (Г.Р. Державин). Первые жалобы на одинокое существование появляются у сентименталистов и ранних романтиков в элегиях и песнях: “Сердцу скучно одному – / Свет пустыня, мрак ему” (Н.М. Карамзин), “Брожу с душой унылой / Один по берегам” (И.И. Дмитриев), “... я один с безмолвною тоской / Беседую в ночи с задумчивой луной” (К.Н. Батюшков), “Один, один, бедняжка, / Как рекрут на часах!” и “Ах, скучно одинокому / И дереву расти!” (А.Ф. Мерзляков. “Среди долины ровныя”, 1810), позднее в “Русской песне” (1824) А.А. Дельвига – “Скучно, девушка, весною жить одной... Сиротинушка, на всей земле одна...”, а в полежаевском “Сарафанчике” (1834) дана простонародно-песенная форма “однешенька”: “Мне наскучило, девице, / Однешенькой в светлице / Шить узоры серебром!” (впоследствии повторенная И.З. Суриковым: “нежилась я на воле однешенька”). А первое “одиночество” повстречалось нам в стихотворении Н.А. Львова “Ночь в чухонской избе на пустыре” (1797), но значило оно “уединение”: “Мне в пустынном одиночестве / Показался голос девичий”.

Одним из первых признался в своей не временной, а постоянной одинокости В.А. Жуковский (“А я один – и мой печален путь”) и сочинил соответствующую сентенцию: “Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг, / Уже одиноком не будет...” (“Теон и Эсхин”), а “цветок увядший, одинокой” вызвал у него мысли о бренности всего живого (“И тот же рок нас угнетает”), то есть поэту в каждом конкретном факте и конфликте виделись общие закономерности, “проявление исконных и вечных общечеловеческих антиномий” (Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра. Элегия от Сумарокова до Некрасова. М., 1973. С. 45).

Однако романтическая формула будущего лермонтовского лейтмотива принадлежала не Жуковскому, а К.Ф. Рылееву – “Горький жребий одиночества / Мне сужден в кругу людей”, но в рылеевском восприятии это – отчужденность от человеческого общества, социальный аспект, а не вселенский, как у Лермонтова, хотя и не менее мрачный и безнадежный. Вот отрывок из его “Стансов” (1824):

С тяжкой грустью, с черной думою  
Я с тех пор один брожу  
И могилою угрюмою  
Мир печальный нахожу.

Отдал дань этим грустным переживаниям и молодой Пушкин – не без влияния европейских романтиков: “Он в мире одинок, уж нет души родной” и “Он одиночеством печаль свою питал” (“Осгар”, 1814), “Мне кажется: на жизненном пиру / Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый, / Явлюсь на час – и одинок умру” (“Князю А.М. Горчакову”, 1817), “Живу печальный, одинокий, / И жду: придет ли мой конец?” (“Я пере-

жил свои желанья...”, 1821). По поводу последней строки любопытное наблюдение сделано М.Л. Гаспаровым: автор вводит глагол *жду*, чтобы “трезво соблюсти отстраненную дистанцию между собой-рассказчиком и собой-героем” (Гаспаров М.Л. Избр. труды. М., 1997. Т. II. С. 372). Стремясь к выражению гармонического строя чувств и избегая непосредственных “криков души”, поэт эпитетом *одинокий* характеризовал обычно не свойство природы, не меланхолический склад ума, а преходящее настроение и времяпрепровождение (“И одинокий / Во тьме глубокой / Я пробуждён”, “досада одинокая”, “одинокое гулянье”, “ложе одинокое”). То же можно сказать и о ряде случаев употребления слова *один* (“один, один брожу, уныл и мрачен”, “тихо задремал один”, “я пью один”), которое в зрелой пушкинской поэзии зачастую вообще лишается “одинокое ореола”, обозначая “единственный”, “обособленный”: “Стоит – один во всей вселенной” (“Анчар”), “Одна ты несешься по ясной лазури...” (“Туча”), “Ты царь: живи один” (“Поэту”), “Жив будет хоть один пиит” (“Памятник”). Заметим, что Пушкин не слишком жаловал отвлеченное понятие “одиночество” (лишь 7 случаев во всем творчестве, в то время как “одинокий” – около 30; см.: Словарь языка А.С. Пушкина. М., 1959. Т. III).

Интересно сопоставить два стихотворения: пушкинский “Кавказ” (“Кавказ подо мною. Один в вышине / Стою над снегами у края стремнины...”) и лермонтовское “Выхожу один я на дорогу...”. И в том, и в другом лирические герои показаны наедине с природой, и в зачине выделено слово *один*. Но у Пушкина человек на вершине горы созерцает величественные и вполне реальные пейзажи – сверху вниз (“Отселе я вижу потоков рожденье...”), он рядом с небом, а горы и даже тучи – под ним. И тем не менее перед нами не властелин мира, а покоритель горного пика, он немного гордится собой, а главное, восхищается открывшейся его взорам грандиозной панорамой. У Лермонтова же пространство и дорога не земные, а ирреальные, космические (“звезда с звездой говорит”, “спит земля в сиянье голубом”, “пустыня внемлет Богу”), и “Я” стоит лицом к лицу со Вселенной и Вечностью и заглядывает в космос своей души, где поиски свободы и покоя оборачиваются мечтами о вечном сне как замене смерти – с поющим о любви сладким голосом и шумом вечнозеленого дуба, то есть жаждет невозможного: слияния с миром и избавления от безысходного, глобального одиночества.

А через много лет на символической “голой вершине” будет стоять поэт, сознавая на пороге близкой смерти, что “живая жизнь давно уж позади”. Это престарелый Ф.И. Тютчев, прощавшийся с умершим братом: “Стою один, – и пусто все кругом. / И долго ли стоять тут одному?”, “Передового нет, и я, как есть / На роковой стою очереди” (“Брат, столько лет сопутствовавший мне...”, 1870).

В 20–30 годы XIX века у разных поэтов мелькают упоминания об

одиноких раздумьях и прогулках, об отсутствии друзей и родных, о своей чуждости и скитальчестве, созвучные лермонтовской музе: “Один и пасмурен душою, / Я пред окном сидел...” (Е.А. Баратынский, 1821), “Когда я вдоль Невы широкой / Скитаюсь мрачный, одинокой” (Д.В. Веневитинов, 1826), “Но, друг мой, в день твоих ли именин / Я буду в одиночестве один?” и “А я один средь чуждых мне людей (у Лермонтова: “чуждый для людей”) / Стою в ночи, беспомощный и хилый...” (В.К. Кюхельбекер, 1833 и 1837), “А здесь – я, одинокий и сир (у Лермонтова: “как нищий сир”), / Отдал всю жизнь воспоминанью” (А.И. Одоевский, 1833), “Бездомный скиталец – пустынный певец – / Один, с непогодою в споре...” (В.Г. Бенедиктов, 1837). Публикуются едва ли не первые стихотворные опыты, озаглавленные “Одиночество” – тютчевский перевод “Уединения” А. Ламартина (1822) и элегия В.Г. Теплякова (1832), высоко оцененная Пушкиным, сказавшим, что, написав ее, автор занял “почетное место между нашими поэтами”.

Меж тем, как он кипит, мой одинокий ум!  
Как сердце сирое, облившись кровью, рвется!

Казалось бы, из поэтов последекабристского поколения больше других должен был чувствовать одиночество А.И. Полежаев, насильно вырванный из нормальной жизни и отданный в солдаты (“Оставлен всеми, одинокий, / Как в море брошенный челнок...”, 1828). Но он испытывает более сильные эмоции, называя себя “ожесточенным”, “осужденным”, “отверженцем” людей и природы, ненужным членом бытия, “погибающим”, “живым мертвецом”.

Только у одного современника Лермонтова, одновременно с ним и независимо от него, тема одиночества становится сквозной, ассоциируясь не с изгнанием, гонениями, скитаниями, как в лермонтовской поэзии, а с сиротством, бедностью и неволей. Речь идет о А.В. Кольцове: “Один горе мыкивал” (1829), “Кто ж живет тут одиноко...” (1832), “Сяду я за стол – / Да подумаю: / Как на свете жить / Одинокому?” (1837), “Тяжелей того в чужих людях / Быть в неволе – в одиночестве” (1839), “Жил один я, в одиночестве...” (1840). Не случайно Н.П. Огарев назвал Лермонтова и Кольцова “двумя одинокими властителями поэтических дум, а А.И. Герцен – “двумя мощными голосами, доносившимися с противоположных сторон”, очевидно, имея в виду социально-культурную их противоположность: один – выходец из дворянской, интеллектуальной среды, другой – народной, патриархальной. Действительно, каждый из них по-своему отразил атмосферу 30-х годов – жажду свободы и разочарования, дух сомнений и отрицания. Правда, Лермонтов творил во всех жанрах (лирика, поэмы, драматургия, проза), а Кольцов – лишь в “Русских песнях” да в “Думах”. Но созданная им формула одиночества: “И одиночества недуг / Кормить привязчивой тоскою” сопо-

ставима с лермонтовской: “Как страшно жизни сей оковы / Нам в одиночестве влачить!”. По сравнению с кольцовской, лермонтовская поэзия подчеркнута, откровенно автобиографична, “это поэзия человека, отчужденного не только от любого данного социального контекста, но и от мира как такового” (Бродский И. Из заметок о поэтах XIX века. – В кн.: Иосиф Бродский: труды и дни. М., 1998. С. 38–39).

После Лермонтова, под мощным его воздействием, мотив одиночества прочно вошел в русскую поэзию и захватил прежде всего поэтов лермонтовского окружения. Это, к примеру, Е.П. Ростопчина, которая сетует в своих стихах на “одиночество страданья”, на скучный одинокий путь, на отчуждение от света и людей. В стихотворении “На дороге!” (27 марта 1841) поэтесса прощается с Лермонтовым, уезжавшим в последний раз на Кавказ (“Там сердцу в скорби одинокой / Нет где при-стать, где отдохнуть!”) и выражает несбывшуюся надежду на его скорое возвращение: “И минет срок его изгнания, / И он вернется невредим!”. А 24 июля 1841 на 9-й день гибели поэта ею была написана программная декларация “Одиночество”, в которой перечислены три разновидности этого состояния: жите отшельника, верующего в загробный “светлый рай”; уединение мыслителя и мечтателя в глуши, где “просвещенному уму досужно”; одинокость в толпе, среди чужих людей, жизнь без сердечного привета и душевной привязанности – “Вот одиночество!.. Как тягостно оно!”.

Последняя разновидность и преобладала – во многом благодаря Лермонтову – в русской лирике середины и конца XIX века: “Зачем же я один несу ярмо земное, / Забытый каторжник на каторге земной?” (это поздний П.А. Вяземский; ср. *лермонтовское*: “И как преступник перед казнью / Ищу вокруг души родной”); “одинокая среди народа” (К.К. Павлова), “Как в одиночестве моем / Мне ночи кажутся и долги, и унылы!” (А.Н. Апухтин), “За то, что я остался одиноким, / Что я ни в ком опоры не имел...” (Н.А. Некрасов), “И покончишь ты век одинокий, / Никого никого не любя” (И.С. Никитин), “И пусть пройду я одиноко в мире” (Н.П. Огарёв), “В глухом безвременье печали / И в одиночестве немом / Не мои одни свой век кончали...” (К.К. Случевский).

Два других вида, упомянутые Е.П. Ростопчиной, – религиозное и творческое отшельничество (добавим – и созерцание природы), встречаются реже: “Где в глубоком, святом одиночестве... Как аскет, убежавший в пустынь...” (К.К. Случевский), “Но я пишу их потому, / Что этот голос одинокой – / Он нужен чувству моему” (Н.П. Огарёв. “Мой русский стих...”), “Но порой мечтою странной / Он томится одиноком...” (А.К. Толстой), “Когда один, в минуты размышленья, / С природой я беседую в тиши...” (И.С. Никитин), “Объятый радостью простора, там в мечтах / Я забываюсь, блуждая одиноко” (А.А. Голенищев-Кутузов).

Кто-то из поэтов вторил Лермонтову и перекликался с ним: “Я гляжу на дороге уныло, / Незавиден и тесен мой путь” (Ю.В. Жадовская),

“Но я брожу один во тьме безбрежной...” (А.П. Григорьев), “Средь мира лжи, средь мира мне чужого (...) – Я выхожу на старую дорогу!” (А.К. Толстой), “Там страждет человек, один во всем творенье...” (К.К. Случевский). А кто-то не соглашался и полемизировал с предшественником – “Не одинок, не странник ты теперь: / Ты отдохнешь, любовию согрет...” (А.Н. Плещеев), “Я одиночества не знаю на земле” (А.Н. Майков).

Отчетливо слышны лермонтовские отзвуки в лирике А.Н. Апухтина: “Среди толпы людей / Я так же одинок, как ландыш, из полей / Родных отторженный суровою рукою...” (“Первый снег”, 1854), “Не плачь, мой певец одинокой, / Покуда кипит в тебе кровь” (“Утешение весны”, 1859), “Покинутый тобой, один в толпе бездушной, / Я в онемении стоял...” (“В театре”, 1863). Пушкинское “бури завыванье” он рифмует с “одинокими мечтаньями” (“Осенняя примета”, 1856), а тургеневское “Утро туманное, утро седое” преобразует в “песню туманную, песню далекую”, продолжая цепочку перечислений – “Доля печальная, жизнь одинокая, / Слез и страдания цепь непрерывная...” (“Жизнь”, 1856). Эта система лексико-синтаксических повторов и ритм 4-стопного дактиля были вскоре подхвачены И.С. Никитиным в стихотворении “Выбрыта заступом яма глубокая” (1860) – “Жизнь невеселая, жизнь одинокая, / Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая, / Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая...”, ставшим популярной народной песней.

Следом за мерзляковским дубом “в могучей красоте” и лермонтовской сосной вырастают на русской поэтической почве “судьбой гонимый” “Дуб” И.И. Козлова и “Одинокий дуб” А.А. Фета, и старый дуб, “как сторож пустыни глухой” И.С. Никитина (“Дуб”), и “Бор сосновый в стране одинокой стоит...” А.К. Толстого, а рябине-сиротинке И.З. Сурикова не судьба соединиться с растущим одиноко дубом и суждено “век одной качаться” (“Что шумишь, качаясь...”). По мнению М.Н. Эпштейна, “в поэзии 2-й половины XIX века преобладает мотив отъединенности дуба от молодой жизни, которая бושует вокруг...”, что связано с его долговечностью (Эпштейн М.Н. “Природа, мир, тайник вселенной...”. Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 48). Думается, что значительную роль в формировании не только “высокого, могучего, цветущего”, но и одинокого дерева сыграла песня А.Ф. Мерзлякова “Среди долины ровныя...” (1810), к тому же и сам исследователь называет ее «зачином к поэтической “истории” дуба» (С. 47).

От одного автора к другому кочуют одинаковые словосочетания – *одинокая жизнь, душа, скука; одинокий час(ы), путь, цветок; одинокие мечтанья, вечера*. По-прежнему малоупотребительно существительное *одиночество*, в том числе и в заголовках произведений (“Одиночество” А.М. Жемчужникова, “Горькое одиночество” П.В. Шумахера). Случается, что этот мотив получает совершенно неожиданную

трактовку, как, скажем, в стихотворении Николая Минского “Прокаженный” (1885):

Если б камень иль дерево чувствовать стали  
И свое одиночество поняли вдруг,  
Их бы тот же объял бессловесный испуг,  
Они б так же, как он, вопияли.

И все-таки продолжателем лермонтовской темы в XIX веке стал, пожалуй, только С.Я. Надсон, поэт не менее трагической судьбы, чем у Лермонтова и Кольцова, погибший от чахотки, не достигнув 25 лет. Начиная стихотворец нередко буквально следовал за лермонтовскими образцами, превратившимися к тому времени в общепозитивские штампы: “Один я брожу...”, “Я бреду один с поникшей головой” (ср. у Лермонтова: “Брожу, беспокоен, один”); “забыт и одинок”, “один, позабытый, печальный, больной” (ср. “Как я забыт, как одинок”); “Быть может, я один с мучительной тоской...” (ср. “один, один с моей тоской”).

Слова-то были расхожими, а чувства подлинными, ибо опирался молодой поэт на собственный жизненный и душевный опыт. Как и Лермонтов, он страдал от одиночества, но не в светском обществе, а в людской толпе (“с толпой, но одинок”, “дни одиночества среди толпы веселой”). В отличие от своего наставника, вспоминал свое одинокое детство (“Я рос одиноко, я рос позабытым...”), описывал скитания не на чужбине, а по чужим углам (“И снова возвратясь в мой угол одинокий...”), чувствовал себя не изгнанником и избранником, противостоящим миру и Богу, а усталым, больным человеком (“Один искать пути я выбился из сил...”), обойденным и сломленным судьбой: “Но если ты один... но если ты судьбою / На жизненном пиру, как нищий, обойден” (пушкинский “жизненный пир” объединился с лермонтовским “нищим”). Если у Лермонтова одинокими предстают как герои, так и вещи, и явления природы (корабль, остров, гробница, беседка, утес, сона, листок), то Надсон награждает этим эпитетом отвлеченные понятия, эмоции (тишь, сны, дни, путь, печаль, слезы), в чем сказывается своеобразие надсоновского мотива одиночества: “Одинокие слезы горят!”, “одинокой печали непонятый крик”, “Умерла моя Муза!.. Недолго она / Озаряла мои одинокие дни...”. Перед смертью поэт, подводя итоги своей безрадостной жизни, напишет как бы вариации на лермонтовскую “Думу”, заменяя множественное число “мы” единственным “я” и снимая пафос обличения и негодования, оставит лишь горечь.

И вечно странствовать без отдыха и цели,  
И вечно чувствовать, что всюду ты чужой,  
Что нету у тебя ни очага, ни кроватка!  
 (“Итак, сомненья нет...”, 1886)



Способность не только страдать, но и сострадать униженным и оскорбленным, неприятие любой несправедливости и понимание необходимости борьбы с ней сделали Надсона выразителем дум и чаяний демократической молодежи и разночинной интеллигенции эпохи безвременья 70–80-х годов. Но кое-кто из молодых поэтов, которые придут в литературу в начале XX века, не смогут понять, почему на Руси “четверть века центрит Надсон” (Игорь Северянин), и захотят сбросить классиков с “парохода современности”.

Пройдут десятилетия, и новые поэтические поколения будут считать XIX век не “железным”, а “золотым” и его культуру классической. Будут почитать Лермонтова, видя в нем дерзкого “юношу опального”, «с мятежным Демоном сходявшимся на “ты”» (Ю. Левитанский), “одиночество воспевшим” (Вл. Соколов), “странником”, с кем “были мы одни” (Б. Ахмадулина), а о Надсоне скажут, что он “в 20 лет своих стал самым нужным певцом у России, / вся Россия в слезах провожала в могилу его” (Б. Чичибабин). Хотя появятся и попытки иронически переосмыслить романтические ценности (с намеками и на Лермонтова, и на Надсона), “как это у Иосифа Бродского в “Венецианских строфах”:

О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза  
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,  
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,  
писавших, что – от любви.

*Продолжение следует*

*Цфат  
Израиль*



*Комизм языка персонажей  
Андрея Платонова*

*И.И. МАТВЕЕВА,  
кандидат филологических наук*

Очень важно. Мое молодое,  
серьезное (смешное по форме) –  
остается главным по содержанию  
навсегда, надолго.

*А. Платонов. Из записных книжек*

Оригинальность платоновских сочинений ярче всего проявляется в языковом исполнении, в знаменитом платоновском стиле, которому невозможно найти аналог в русской литературе. Однако писатель работал в русле стилистических тенденций 20-х годов, когда в художественных произведениях создавался необычный синтез речевой стихии и литературного языка. В духе общей тенденции платоновская проза наполнена разноязыким говором революционной эпохи, революционной фразой и политическими лозунгами, новыми штампами, диалектными словечками, нередко создающими в речи персонажей комический эффект.

Платонова принято считать “серьезным” и даже “трагическим” писателем. А между тем он сам осознавал природу художественного творчества как синтетическую, соединяющую юмор и трагедию. В его произведениях авторское повествование, как правило, значительно отличается от речи персонажей. И если для первого характерна некоторая тяжеловатость ритма, избыточность фразы и общая печальная то-

нальность, то речь персонажей насыщена остроумием, просторечием и комическими элементами.

Приведем лишь некоторые характерные формы и приемы юмора на лексическом и стилистическом уровне, которые далеко не исчерпывают всего богатства языка писателя и где комическое – только часть стиля платоновской прозы. Это прежде всего “семантическая редупликация”, “комический окказионализм” и “сдвиг в логике”.

**“Семантическая редупликация”** представляет собой избыточность фразы и с точки зрения стилистической нормы недопустима. Как правило, она встречается в речи малообразованных людей. Между тем, у Платонова это важнейший художественный прием, отражающий, с одной стороны, своеобразный язык эпохи, а с другой, делающий речь персонажей и рассказчика чрезвычайно экспрессивной и насыщенной. Например: “решил жить *вперед*”, “где здесь *есть* центр?” (“Усомнившийся Макар”), “Жачев ел *дёснами*”, “соревноваться на *высшее счастье настроения*” (“Котлован”), “захохотал *всем своим редким и молчаливым голосом*” (“Сокровенный человек”). Эти фразы смешны с точки зрения языковой нормы, но совершенно органичны для художественной прозы писателя, отразившего на лексическом уровне, говоря его словами, “бред продолжающейся жизни”.

**“Комический окказионализм”** – это слово, смысл которого неясен говорящему, в результате чего возникает нарушение языковой нормы. Как правило, он встречается в речи персонажей и выдает их малообразованность: “Жизнь *не в талию* припала человеку” (“Душевная ночь”), “*обожаемый* товарищ Ленин” (“О потухшей лампе Ильича”), “*кляп* ты понимаешь в ровной жизни”, “субъект-человек” (“Чевенгур”). Все эти примеры – своеобразные платоновские неологизмы. Интересно, что этот процесс в языке отразил и М. Зощенко в рассказе “Обезьяний язык”. Герои Платонова и Зощенко изъясняются как бы на “чужом” языке, они не понимают языка, на котором говорят, в результате чего обмен фразами становится имитацией диалога.

Вариантом приема является **комическое просторечное словечко**, обладающее у Платонова особой экспрессивной функцией “двинуть в ушняка” (“Память”), “рыба *попёрла*” (“Шарманка”), “А ты думал, паровоз жлоб *сгондобил*” (“Сокровенный человек”), “*гвазданул*” (“Бучило”), “*молонья сверкует*” (“Рассказ не состоящего больше во жлобах”).

Комический эффект возникает также в результате неправильного словообразования: “переугоденец”, “сестра-посиделка”, “писец” (вместо “писарь”); неправильного диалектного произношения известных слов: “фулюган”, “ехай скорее” (“Сокровенный человек”), “хронт” (“Чевенгур”), “липистричество”, “лисапетка”, “кохты” (“Рассказ о многих интересных вещах”), “алимон”, “галихва” (“Бучило”).

Автор вводит в речь своих персонажей ругательства, которые в платоновском тексте часто звучат несколько смягченно и оттого еще бо-

лее неожиданно и смешно: “Девка там одна доказала, *сукушка*”, “Судить я тебя буду в тылу, *гаду* такую”, “А-а, *стервозия*, я ж тебя упокою”, “Эх, ты, *тина!*” (“Сокровенный человек”).

На страницах платоновских текстов встречается большое количество неожиданных определений, рассчитанных на комическое восприятие образа: “*обглоданный народ*” (“Рассказ не состоящего больше во жлобах”), “*бабье-дамские драгоценные предметы*” (“Впрок”), “*ребристое тело Пашинцева*”, “*негодящие люди*”, “*однообразное массовое лицо*”, “*бурого цвета человек*” (“Чевенгур”), “*мусорный голос*” (“Шарманка”). Так же много у Платонова комических сравнений: “заорал, как Архангел” (“Память”), “с лицом счастливой тыквы” (“14 Красных избушек”); парафраз: “сверкуляющая небесная сила” – солнце (“Рассказ о многих интересных вещах”), “носовая очистка” – носовой платок (“Сокровенный человек”), “уличное помойное ведро” – урна (“Усомнившийся Макар”); каламбуров: “Я привлеку тебя к законной ответственности за незаконные зрелища” (“Усомнившийся Макар”), “Я тебе пролетарское спасибо скажу, – проговорил Копенкин и погладил Пролетарскую Силу” (“Чевенгур”).

Использование эмоционально окрашенных слов – существенная черта поэтики Платонова. Ругательства, различные уподобления и сравнения у него не самоцель, а средство создания комического образа или сатирического портрета. Подобные слова и выражения могут придавать тексту общую ироническую окраску, а также смягчать трагическое звучание произведений.

Одним из употребительных приемов языкового комизма у Платонова является “сдвиг в логике”. Суть приема сводится к неожиданному изменению в логике высказывания в пределах небольшой фразы или предложения. При этом подготовленное предшествующим контекстом читательское восприятие должно быстро перестроиться на “другую волну”. Чаще всего “сдвиг в логике” у Платонова возникает из сочетания несочетаемых понятий или частей в высказываниях типа: “научно-техническая контора” (“Усомнившийся Макар”), “авиамамки”, “багряки авангарда” (“Шарманка”), “Чемберлен, рыдающий от своего хамства” (“О потухшей лампе Ильича”), “левацкое болото правого оппортунизма” (“Котлован”).

“Сдвиг в логике” в завуалированной форме обращает внимание читателя на абсурдность общественной, культурной и политической жизни страны. Например, в названии папирос “Красный инок”, выпускаемых инвалидами в городе Градове в одноименной повести, Платонов остроумно соединил отделенную от государства церковь со светским “курящим” образом жизни, а заодно определил свое ироническое отношение к символике красного цвета в новых советских названиях.

Платоновские герои парадоксально мыслят, совершая неожиданные

переходы от одного логического потока к другому. Например: “Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал”, или: “они же думают чего-нибудь, раз жалованье получают” (“Усомнившийся Макар”).

Особенно парадоксально мыслят платоновские героини. Приведем характерную выдержку из романа “Чевенгур” – сцену, когда Клавдюша неожиданно встречает на своем пути голого Пашинцева: «Наспех оглядев тело Пашинцева, она закрыла платком глаза, как татарка. “Ужасно вялый мужчина, – подумала она, – весь в родинках, да чистый – шершавости в нем нет!” – и сказала вслух:

– Здесь, граждане, ведь не фронт – голым ходить не вполне прилично».

Комический эффект от нелепого высказывания героини усиливается тем, что Клавдюша, думая о сексуальной непривлекательности героя, вслух произносит совсем иное, сохранив однако в ответе голому товарищу чувство разочарования от его облика. Таким образом, вся парадоксальная высказывание Клавдюши не лишено своеобразной, но вполне понятной житейской логики.

“Сдвиг в логике” возникает в результате неожиданного сочетания слов или непривычного поворота мысли. Например: “Труд – пережиток жадности” (“Чевенгур”), “*Видя по его телу, класс его бедный*”, “человек *длинного тонкого роста*” (“Котлован”), “Я не евши это сказал” (“14 Красных избушек”). Неожиданное сочетание слов позволяет взглянуть на вещи с неожиданной стороны и таким образом обеспечивает нестандартное видение мира.

Нередко у Платонова вторая часть предложения или фразы опровергает первую, рождая тем самым комический эффект: “Да, это орудие *высшего* психологического увещевания, но теперь нам всякое *дерьмо* гоже!” – говорит председатель ГИК товарищ Сысоев из повести “Город Градов”.

Близка к приему “сдвиг в логике” “**непоследовательная группировка**”, когда в ряд перечисляемых предметов или признаков включается слово или группа слов на основе “чужой логики”. Комизм возникает из-за несовместимости в родовом отношении одного или нескольких членов ряда. В ранних рассказах этот прием выполнял чисто юмористические функции: “Василь Иванович был горе-мужик, а Никанор так: гнусь одна, зато *баритон и глупый человек*” (“Записки потомка”). В произведениях второй половины 1920-х годов этот прием приобрел характерное для Платонова мастерство исполнения. Писатель чаще всего применял его для выявления наивности и неразвитости сознания героев или рассказчика: “За ним (военным начальником. – И.М.) идут прочие военные люди – кто с бомбой, кто с револьвером, кто *так ругается*” (“Сокровенный человек”), “Свои имели глаза голубые, а чужие – чаще всего черные и карие, *офицерские и бандитские*” (“Чевенгур”).

Комизм речи платоновских персонажей иногда возникает в результате подмены одного слова другим – близким по звучанию, но ничего общего не имеющим с ним по значению. Это прием “**малопропилической подмены**”, в результате которого возникают курьезные ошибки, аналогичные той, которую допустил крестьянин из повести “Котлован”:

– Я б давно записался, только зою сеять боюсь.

– Какую зою? Если сою, то она ведь официальный знак!

– Её, стерву”.

“Малопропилическая подмена” лежит в основе комизма диалога из романа “Чевенгур”:

– Как такие слова называются, которые непонятны? – скромно спросил Копенкин. – Тернии или нет?

– Термины, – кратко ответил Дванов”.

Аналогично, на игре слов, строится диалог в рассказе “Бучило”:

– Как называется Пресвятая Дева Мария?

– Огородница.

– Богородица, чучел”.

Для усиления комического эффекта Платонов смешивал части различных устойчивых выражений, создавая нелепые смешные образования, характеризующие неграмотность и малокультурность персонажей: “ничего нам мировоззрение марать” (“менять мировоззрение” и “марать репутацию”), “Да ты паники на шею не сажай” (“разводить панику” и “сесть на шею”) (“Чевенгур”).

Излюбленным комическим приемом Платонова на языковом уровне является переосмысление автором народных пословиц, поговорок и прибауток, а также изобретение собственных. Например, выражение “рак крякнул” представляет собой комическое переоформление поговорки “рак свистнул”, “Ленин взял да и дал” (“Чевенгур”) вызывает ассоциации с поговоркой “бог дал – бог взял”, “душа с советской властью расстается” (“Ювенильное Море”) – с поговоркой “душа с телом расстается”, “Шариков как в озеро глядел” (“Сокровенный человек”) – с поговоркой “как в воду глядел”. Пословицы “Веревка не верба – и зимой растет” (“Ямская слобода”), “Всякий счет потребует потом переручета” (“14 Красных избушек”) изобретены самим автором. Хозяйка, доящая корову, приговаривает ничего не значащие ласковые пустяки, “изобретенные” самим писателем: “Машка, Машенька, ну не топырься, не гнушайся, свят прилипнет, грех отлипнет” (“Чевенгур”).

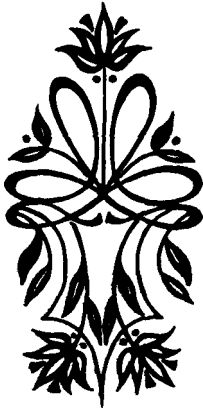
Платоновские прибаутки нередко ритмически организованы: “Живи храбрее – жми друг дружку, а деньги в кружку” (“Котлован”), “А то что ж невтерпеж, ни вздохнуть, ни рыгнуть” (“Володькин муж”), “Паек берешь – паровоз даешь, паровоз в расход – бери другой паек и все сначала делай” (“Сокровенный человек”), “Не трожь Варю, она не сладкоужка: сходит на двор – не увезешь на тележке” (“Ямская слобода”).

Для изобретенных Платоновым лозунгов, в большом количестве присутствующих в его произведениях, характерны “сдвиг в логике” и исходная несочетаемость входящих в высказывание понятий, а также крайняя агрессивность тона: “За советскую бакенбарду” (“Че-Че-О”), “Каждый прожитый нами день – гвоздь в голову буржуазии. Будем же вечно жить, пускай терпит ее голова” (“Сокровенный человек”), “Гони березку в рост, иначе съест ее коза Европы”, “Пашите снег, и вам будут не страшны тысячи зарвавшихся кронштадтов” (“Чевенгур”), “Дашь крапиву на фронт социалистического строительства” (“Котлован”), “Не доверяй себе никто!”, “Считай себя для пользы службы вредителем” (“Шарманка”). В этих алогичных лозунгах отразилась реальная, до крайности политизированная атмосфера 1920–1930 годов, когда дух враждебности и подозрительности витал в воздухе, заставляя граждан доносить друг на друга.

Все перечисленные приемы, делающие речь персонажей чрезвычайно яркой, образной, ни на минуту не позволяют забыть о том, что писатель пытался вести серьезный диалог с обществом, а устами героев высказывал собственные сокровенные мысли. Художественное открытие Платонова состоит в том, что в сфере просторечия и бытовой сниженной лексики он нашел способ выражения важных понятий, традиционно существующих в ином языковом пласте. Снижая и нарочито “опошляя” свои размышления о современном обществе с помощью приемов языкового комизма, Платонов таким образом пытался сделать их доступными массовому читателю, и в этом состоит доказательство его глубинной причастности к самым истокам народной жизни.

*Шуя,  
Ивановской обл.*





## Фрагменты комментария к “Крыльям” Михаила Кузмина

О.А. ЛЕКМАНОВ,  
кандидат филологических наук

В своей пронизательной заметке “О прозе М. Кузмина” Б.М. Эйхенбаум пишет о Николае Лескове, как о “единственном, пожалуй, русском учителе” автора повести “Крылья” (Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. М., 1987. С. 348). Самого Кузмина Эйхенбаум чуть ниже называет “мастером стилизации” (Там же. С. 349).

В третьестепенном персонаже второй, “приволжской” части “Крыльев” нетрудно узнать почти полного двойника главного героя лесковской “Леди Макбет Мценского уезда” – Сергея. У старшего писателя, напомним, приказчик Сергей впервые изображается “на дворе”, рядом с жирной кухаркой Аксиной. “– А вот свинью Аксиною (взвешиваем), что родила сына Василья да не позвала нас на крестины, – смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой” (см.: Лесков Н.С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. Т. 5. С. 249). А в повести Кузмина первое появление Сергея подается так: «Иногда, не дождавшись (кухарки) Маланьи, за кушаньями бегал кудрявый Сергей, молодец из лавки, обедавший дома вместе с Иваном Осиповичем; и когда он несся потом *по двору*, высоко держа обеими руками блюдо, за ним *катилась* и *кухарка* с ложкой или вилкой, крича: “Да что это, буд-то я сама не подам? зачем Сергея-то гонять? я бы скоро...”».



– Ты бы скоро, а мы сейчас, – отпарировал Сергей, ухарски брякая посудой перед Ариной Дмитриевной и усаживаясь с *улыбочкой* (курсив наш. – О.Л.) на свое место...” (см.: Эрос. Россия. Серебряный век. М., 1992. С. 121; далее – только стр.).

Далее Кузмин подробно воспроизводит разговор, который ведется за обеденным столом, причем обе реплики Сергея с легкостью проецируются на сюжет Лескова. Сначала Сергей заводит речь о преступлении и наказании: “– Часто очень бывает затруднительно понять, что как понимать следует; возьмем так: убил солдат человека, убил я; ему – Георгия, меня на каторгу, – почему это?” (122). Потом – о надоевшей любовнице: “– Позвольте, ведь бывает, что и муж жену с сердечным трепетом обожает, а другой и к любовнице так привык, что все равно ему, – ее целовать, комара ли раздавить: как же тогда разбирать, где закон, а где блуд?” (122).

Учитывая лесковскую родословную Сергея, рискнем предположить, что заключительное появление “молодца из лавки” в повести Кузмина заставляет вспомнить о финале “Леди Макбет Мценского уезда”: “подоспевший откуда-то Сергей” (138) рассказывает главному герою “Крыльев” историю только что выловленного утопленника. И там, и там возникает общий мотив гибели в воде.

Проведенное сопоставление позволяет еще раз убедиться, что Эйхенбаум имел все основания назвать Кузмина “мастером стилизации”. Заставляя лесковского Сергея принимать участие в своей повести, Кузмин приглашал внимательного читателя соотнести провинциальные страницы “Крыльев” даже не с конкретным, но с многочисленными произведениями Лескова на сходную тему.



## Главная книга Н.А. Клюева, ее жанр и язык

Б.И. МАТВЕЕВ

Речь пойдет о лиро-эпической поэме Николая Клюева (1884–1937) “Погорельщина”. В ней с наибольшей силой выражены идеалы поэта, неповторимые особенности его художественного видения мира. Это своеобразное поэтическое завещание писателя потомкам, полное проницательных пророчеств и предупреждений, которым они, к сожалению, не вняли.

В центре поэмы – трагическая судьба русского крестьянства в период ликвидации кулачества как класса, то есть уничтожения самой работоспособной части сельского населения и начавшегося на этой почве отчуждения хлебороба от земли, вымирания деревни с ее многовековой культурой. Писать об этом открыто, конечно, было нельзя. Поэтому Клюев прибегает к апокалипсическому сюжету о приходе антихриста, к историческому сказу, относя время действия к эпохе Никона.

Идея поэмы выражена уже в её заглавии, которое соотносится с сюжетными ходами, со всеми образами произведения.

Существительного “погорельщина” нет ни в “Толковом словаре русского языка”, ни в Словаре Даля. Но семантика его прозрачна. Она соотносится со значением слов *погореть* (сгореть), *погорелый* (пострадавший от пожара, погоревший), *погорелец* (тот, у кого сгорело имущество, жилище во время пожара), *гарь* (выгоревшее или выжженное место в лесу). Погорельщина – это местность, лишенная жизни.

Змей, с которым сражается на иконе Егорий, оборона избяного рая, извергает из пасти пламя, уничтожающее все живое. Именно он и превратил родину поэта в погорельщину, страну без единого цветика.

В апокалипсическом сюжете поэмы отчетливо проглядывают черты современной Клюеву советской действительности. В трогательном прощании схимников с обитателями леса – зверями и птицами – слышны скорбь и страдание раскулаченных крестьян, высылаемых из родных, насиженных мест в далёкие холодные края – Нарым, Колыму. В бегстве из лесов зверей, а из водоемов рыб видны результаты индустриализации.

Потаённый смысл поэмы не остался незамеченным следственной комиссией, ведущей дело Клюева. Поэту было предъявлено обвинение в несогласии с политикой коллективизации и индустриализации.

В протоколе допроса Клюева от 15 февраля 1934 года на Лубянке засвидетельствовано его показание о том, что в “Погорельщине” отразился “взгляд на коллективизацию как на процесс, разрушающий русскую деревню и губительный для русского народа”.

В неотправленном письме во ВЦИК Клюев точно сформулировал основную мысль “Погорельщины”: “Природа выше цивилизации” (Азадовский К.М. Николай Клюев. Путь поэта. Л., 1990. С. 313). Любовь к природе, хозяйское к ней отношение, забота о ней для блага будущего определяли резко отрицательное отношение “олонецкого ведунa” к индустриализации. Стремление превратить Россию аграрную в индустриальную Клюев воспринимал с отвращением как предвестие экологической катастрофы.

В “Погорельщине” змей приползает с запада “по горбылям железных вод” и уничтожает всё, начиная с людей и кончая природой. С его появлением умирают лучшие обитатели Великого Сига, а затем бесследно исчезают птицы и животные. Остаются лишь отбросы – человеческий сброд (Клюев Николай. Библиотека поэзии. СПб., 1998. С. 233; далее – только стр.), горлающий песни под тальянку. Животные тоже перерождаются, превратившись в “темное зверье” (247).

Основная мысль “Погорельщины” выходит за рамки национальной проблематики и вплотную соприкасается с “вопросом вопросов”, к которому сегодня приковано внимание человечества – экологической ситуации в мире. Далеко заглядывал певец Заонежья, показывая современникам пагубное воздействие индустриализации на природу и духовный мир человека. Природа оказалась, действительно, ценнее цивилизации. В XXI век мы вступили со сложнейшими проблемами; порождёнными и варварским отношением к природе, к среде обитания людей.

Поэтика Клюева самобытна и сложна. Он использует в своей поэме самые различные художественные средства: контраст, звукопись, тропы, символику цветов, драгоценных камней, птиц, чисел. Открывается поэма лирическим вступлением, в котором рассказывается о северном поселении:

Наша деревня – Сиговый Лоб  
Стоит у лесных и озерных троп.  
Где губы морские, олень да остяк,  
На тысячу верст ягелёвый желтяк.

Жизнь Сиговца и его обитателей до и после пленения змеем нарисована по принципу контраста. До – достаток и красота в избе, леса и реки изобилуют зверем и рыбой, высокая нравственность и религиозность жителей поселения. После – голод, бегство из тайги, озер и рек их обитателей, пьянство и распущенность нравов.

У Клюева краски и звуки воспоены “народной мудростью”, заимствованы из окружающего быта и родной природы. Отсюда такая новизна и поразительная точность его цветowych эпитетов: *кувшинковый* звон, *огнекопытные* кони, *глазуревые* лапти, *серые белычьи* леса, *черемуховый* май. Клюев одним словом выразил сущность своей поэтики: звукоцвет.

Своими учителями Клюев по праву считал Пушкина и Блока. Пушкин дал емкое определение поэзии: *Союз волшебных звуков, чувств и дум*, поставив на первое место звукопись (см.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 5. С. 29).

Формулируя в стихах свое политическое кредо, Клюев явно следует Пушкину: *Уму – республика, а сердцу – мать Русь*. Пятикратное звучание у придает афоризму особую выразительность. Приведем примеры звукописи из “Погорельщины”: многократное повторение одного звука, созвучие подлежащего и сказуемого, сказуемого и дополнения и т.д. Таков, в частности, второй стих поэмы, в котором акцентно звучат *п*, *р* и особенно *с*:

Сиговец же – ярь и сосновая зель,  
Где слушают зори медвежью свирель,  
Как рыба чешуйка свирель та легка,  
Баюкает сказку и сны рыбака  
За неводом сон – лебединый затон,  
Там яйца в луху и кувшинковый звон,  
Лосиная шерсть у совики в дупле,  
Туда не лльву я на певчем весле!

Или звучание *р* в ямщицком романсе:

Разбиты писанные сани,  
Издох ретивый коренник,  
И только ворон на за-ране,  
Ширяя клювом в мёртвой ране,  
Гнусавый испускает крик!

Фонетическое сближение подлежащего и сказуемого также способствует мелодичности звучания стиха:

*Степенный свекр с Силивестром*  
*Срубил келью за погостом.*  
*Однажды птица прилетела*  
*Понурою, отяжелелой...*  
*Сильвестр желанную строку*  
*У ней под крылышком сыскал.*

Той же цели служит созвучие сказуемого с дополнением, как и определения и определяемого слова:

Где *слушают* зори медвежью *свирель*...  
Не белы снега да сугробы  
*Замели* пути до *зазнобы*,  
Ни *проехать*, ни пройти по проселку...  
*Ловила* выдра *лососят*...  
*Плаескали* лососи в *потоках*...  
Месяц кормовое *прямил* весло,  
*Серебряным салом* *смазывал*...  
Приснился Проне *смертный сон*...  
И *серой солью* *посолил*...  
Знаю, что *вечной весною*  
Веет березы душа.

Широко использует Клюев цветопись. Его цветковые образы ярки и броски: *янтарная уха*, *позолотный берег*, *желтяный песок*, *сизый май*, *синеватая бровь*, *злато-белый Сирин* и т.д. В первой части произведения краски сочнее, выразительнее; в дальнейшем они меркнут, блекнут, *постепенно сходят на нет*, что соответствует идее гибели крестьянской культуры, родной природы под натиском насильственной индустриализации.

Наиболее часто в поэме встречается белый цвет, символизирующий в русском фольклоре нравственную чистоту, ассоциирующийся с понятием светлый, ясный, благодетельный, справедливый: *белые избы*, *белые стада*, *белоснежные цветы*, *белый гречневый посев*, *белокрылый Переяславль* и т.д.

На втором месте стоит синий цвет с его оттенками: *синие саваны*, *синие озера*, *сарафаны сини*, *синеглазый Васятка*, *синечерный селезень*, *голубые паруса*, *голубой вечер*, *голубые лебеди*.

Выразительны цветковые эпитеты, представляющие собой относительные прилагательные: *золотогривые кони*, *лазурное перо*, *янтарное кросно*, *хрустальная светелка*, *рябой котел*, *вербный цвет*, *позолотный берег*, *лазореви хвост* и т.п.

Клюева-художника по праву называют изографом. Прекрасный знаток древней иконописи, он широко использовал в своем поэтическом творчестве приемы церковных живописцев: яркие цветковые контрасты, символику цветов, умение на небольшом пространстве передать значительность и драматизм изображаемых событий и т.д.

Влияние древнерусского искусства все время ощущается в поэме, стихи которой, подобно окладу иконы, сияют драгоценными металлами и камнями. В зубах матерого медведя *книга*, *злата* и дивна. Ткачи-

ха-луна грустит за *янтарным кросном*. Светёлка у Насти – *хрустальная*. *Берег*, к которому плывут корабли, – *позолотный*. *Сири*н был *вознесен*, как на блюде, вместе с кедром “в *сапфир*, черемуху и лен”. Сапфир – драгоценный камень синего или голубого цвета.

Павел перед смертью пишет *икону*, где на престоле из *смарагда* (старинное наименование изумруда) лежит усекновенная глава. Звериный спас *укрывает* в свое дупло столпника *Нила*, как *хризопрас* (хризопраз – разновидность халцедона, драгоценный камень, имеющий зелёную окраску). Олёха видит старцев, как “в чаше запоны (бляхи с украшениями) опал”. Опал – драгоценный минерал с радужной игрой цветов или молочно-белый. У автора поэмы “приснули *глаза* с козиц (из-под бровей), как *бирюза* (драгоценный камень голубовато-зеленого цвета). На Индийском помории “*берега* – все *ониксы* с *лалами*”. Оникс – минерал, разновидность агата, состоящий из чередующихся слоёв белой и черной окраски. Лал – старинное название драгоценного красного камня шпинели. *Врата* Ладды – *из скатного бисера*. *Избы* – *яхонты*. Скатный бисер – ровный бисер, то есть стеклянные зернышки со сквозными отверстиями. Яхонт – старинное название рубина, сапфира и других драгоценных камней. *Кокошник* Владычицы *украшен жемчугом*.

Старинные наименования драгоценных камней не только создают в поэме языковой колорит далекого прошлого, но и придают изображаемому событию необычайно яркий, броский характер.

Эпитет – могущественное поэтическое средство. Он озаряет новым светом то слово, к которому примыкает, и сам загорается внутренним пламенем, включаясь в новый контекст. Для Клюева эпитет – наиболее частый и наиболее эффективный способ образного воздействия, поэтического преобразования слова. Основной источник эпитетов Клюева – природный мир Олонецкого края и любовь к нему автора “Погорельщины”.

Поэтичность вступления к поэме во многом создаётся такими словосочетаниями как *кувшинковый звон* и *певчее весло*, а описания природы Великого Сига – *хвойные потемки*, *вербовый цвет*, *лопарский сизый май*, *седые кедры*, *дремучий перевал*, *никлые березы*, *серые белычи леса*, *карие сумерки*, *безвестный перевал*, *россомашии тропы*, *поджарая волчица*, *непролазный лес*, *матёрая стая*, *черемуховый май*, *белоснежный ландыш*.

Очень экспрессивны и такие эпитеты, как *невозвратимые дороги* (не тот свет), *вековечный домик* (о гробе), *сгибнувший погост*, *оледенелые губы*, *сластолюбивый язык*, *морозный Устюг*, *седая Ладога*, *песенный короб*, *темный толк*, *метельные бубенцы*, *неотпный белый гроб*, *ретивый коренник*, *замирающие строки*, *слезный грош*, *пустые луга*.

Некоторые эпитеты явно фольклорного происхождения: *белы сне-*

ги, *сине море, кромешные муки, родимый край, алая кровь, удалая тройка*. Клюев был прочно связан с жизнью и психологией русского крестьянства, с его многовековой культурой. Истоки его самобытного творчества – в олонечкой земле, ее природе, быте, отсюда и такая неповторимая свежесть и яркость его изобразительных средств, в частности, эпитетов.

Для поэтики Клюева характерны бинарные (в форме двучлена) структуры сравнений, уподоблений, сопоставлений. Вот несколько таких конструкций из “Погорельщины”: *Резчик Олёха – лесное чудо, / Глаза – два гуся; Доска от сердца сосны кондовой – / Иконописцу как сот медовый; Сиговому Лбу похвала – Силивестр; Леса – тулупы, подлесья – ноги; Кудрявый парень; Береста – зубы; На Дунай-реке; При ба-тыре-есауле; А звалася свет-Анастасией; Вороти Егорья на икону – / Избяного рая оборону!*; *Пльвуг корабли – / Голубые паруса; Два лебе-дя на водах ясных – / С седою Ладогой Ростов; Изба резная – Костро-ма, / И Киев – тур золоторогий; Октябрь – поджарая волчица./ Лишь бубенцы – дары Валдая; Берега – все ониксы с лалами; Кедрь-ливаны; Избы во Лидде – яхонты; Город-розан.*

В “Погорельщине” нашли поэтические отражения фольклорно-ми-фологические, религиозные, эстетические и морально-этические пред-ставления русского земледельца начала XX века и более ранних вре-мён. Они восходили к двум противоположным мироощущениям – к славянскому язычеству и византийскому христианству. Мироззрение русского пахаря являло собой сложный конгломерат, где язычество пе-реплеталось с христианскими представлениями, легендами, апокрифа-ми, народным пониманием христианства. Поэма наполнена языческой стариной, календарной образностью, старообрядческим фольклором и книжностью.

В частности, в поэме немало метафор, отражающих поэтические воззрения славян на природу. Таково необычайно поэтическое вступ-ление к поэме, изобилующее метафорами:

Сигóвец же – ярь и сосновая зель,  
Где слушают зори медвежью свирель (...)  
А рыбе солнце – налимя майка,  
Его заманит в чулан хозяйка,  
Лишь дверью стукнет – оно на прялке  
И с веретёнцем играет в салки.  
По зыби едет луны телега...  
То с глуби озер, где ткачиха-луна  
За красном янтарным грустит у окна.  
Порато баско зимой в Сигóвце!  
Снега как шапка на устььсыльце,  
Леса – тулупы, подлесья ноги,  
Где пар медвежий – да лосьи логи,

По шапке вьются пути-сузёмки...

Метафора широко используется и при описании тяжелых испытаний, выпавших на долю сиговчан:

Рыдая, солнышко взошло  
И по надречью, по-над логом  
Оленем сивым, хромоногим  
Заковыляло на село.  
Тоскуют печи по ковригам...  
Дремали сосны у окон... ;  
Солнышко в снастях бородой трясло,  
Месяц кормовое прямил весло...  
За окном рябина,  
Словно мать без сына,  
Тянет рук сучьё.

Своеобразно решена в поэме проблема пространства и времени. Действие поэмы начинается на родине поэта, в Витегорском крае, в деревне Сиговый Лоб. Автор предельно четко воспроизводит языковой колорит описываемого географического пространства, его топонимику, нравы и обычаи жителей. Но по мере развития событий, нарастания их драматизма пространство значительно расширяется. Севернорусская деревня постепенно исчезает из поля зрения читателя. Вместо нее возникают города центральной части России (Москва, Звенигород, Вологда, Переяславль, Новгород, Псков, Ростов, Кострома), нерусские (Индийское поморье) и даже библейские – Лидда.

Расширение пространства потребовалось писателю для показа масштабности несчастья, постигшего русский народ. А иноземные города, в том числе Лидда, появляются в связи с сокровенным сказом поэта о Святой Руси, о Граде Нетленном Китеже.

Еще сложнее обстоит дело с категорией времени, так как действие происходит в разных временных планах: с одной стороны, это современность, 20-е годы XX века, с другой – это прошлое и притом далекое (“Сорок дней и ночей сарациняне / Столб рубили, пылили в выгоне...”).

Если судить по началу поэмы, можно решить, что Клюев рассказывает о современной ему деревне, но упоминание об оппонентах Николая, известных старообрядцах, столпниках не подтверждает такое заключение. Далее в повествование о старине то и дело врывается современность. Такова, в частности, зарисовка неудачного посещения Москвы “сосновыми херувимами”, пытавшимися найти там правду, защиту от Антихриста.

Для автора “Погорельщины” настоящее и прошлое слиты, все, что происходит, имеет временной и вместе с тем надвременной характер. Особенно ярко выражено такое представление о времени в конце про-



изведения, когда действие и время как бы обрываются, бытие перемешивается со снами, попеременно включается и исключается. Практически будущего для поэта не существует. Он его обретает, судя по сказу о Лидде, в прошлом, которое ему рисуется золотым веком.

“Погорельщина” – лиро-эпическое произведение. Лирические отступления в нем связаны с темой поэта, его глубокой обеспокоенностью за судьбу многострадальной родины. В этих случаях его голос приобретает особо поэтическое звучание. Таково, в частности, вступление к сказу о Лидде:

Это последняя Лада,  
Купава из русского сада,  
Замирающих строк бубенцы!  
Это последняя липа  
С песенным сладким дуплом;  
Знаю, что слышатся хрипы,  
Дрожь и тяжелые всхлипы  
Под милым когда-то пером!  
Знаю, что вечной весною  
Веет березы душа,  
Но борода с сединою,  
Молодость с песней иною  
Слезного стоят гроша!  
Вы же, кого я обидел  
Крепкой кириллицей слов,  
Как на моей панихиде,  
Слушайте повесть о Лидде –  
Городе белых цветов!

Произведения Николая Клюева, в частности, его “Погорельщина”, поздно дошли до читателя, будучи полвека под запретом. Теперь самобытный и незаурядный писатель, наконец, возвратился во всей своей неповторимости и значимости.

## Филологические беседы

## ЭПИТЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

В.П. МОСКВИН,

доктор филологических наук

Э п и т е т, в узком понимании этого термина, представляет собой определение, подчинённое задаче художественного описания объекта (ср.: Евгеньева А.П. О некоторых поэтических особенностях русского устного эпоса XVII–XIX вв. (постоянный эпитет) // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 6. М.-Л., 1948. С. 156):

Гряды *синюющих* холмов  
И груды *белых* облаков  
На фоне *мраморного* неба.

Если из этой стихотворной надписи на одной из акварелей М. Волошина убрать все цветовые эпитеты и звуковую анафору (*гряды* – *груды*), стихотворение превратится в простую надпись (название акварели: “Холмы и облака на фоне неба”), то есть перестанет быть художественным текстом. Этот пример показывает, насколько велика роль образных определений в художественной, в частности, поэтической речи.

Активность употребления эпитетов варьируется от эпохи к эпохе, от автора к автору. Вот как обильно применял художественные определения А.С. Пушкин:

Редает облаков *летучая* гряда;  
Звезда *печальная*, *вечерняя* звезда,  
Твой луч осеребрил *увядшие* равнины,  
И *дремлющий* залив, и *чёрных* скал вершины...

“В поэзии 20-х годов XIX века, – справедливо отмечает Б.В. Томашевский, – всякая *дева* бывала непременно *юная*, *нежная* или *милая*, всякий *сумрак* – *таинственный*” (Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 59).

Часто применяли эпитеты и поэты “серебряного века”. Образные определения в изобилии встречаем, к примеру, у А. Блока, М. Волошина и у К. Бальмонта, в частности, в стихотворении “Ангелы опальные...”:

Ангелы опальные,  
Светлые, печальные,  
Блески погребальные  
Тающих свечей, –  
Грустные, безбольные,  
Звоны колокольные,  
Отзвуки невольные,  
Отсветы лучей, –  
Взоры полусонные,  
Нежные, влюблённые,  
Дымкой окаймлённые  
Тонкие черты, –  
То мои несмелые,  
То воздушно-белые,  
Сладко-онемелые  
Легкие цветы.

В использовании эпитетов следует, однако, знать меру; в противном случае “текст, как яблоня, перегруженная плодами, изнемогает под бременем определений” (Озеров Л.А. Мастерство и волшебство. М., 1972. С. 371).

Что касается теоретического осмысления и, соответственно, к л а с с и ф и к а ц и и эпитетов, то здесь, к сожалению, следует, видимо, согласиться с авторами изданного в 1979 году Словаря эпитетов в том, что “законченной и общепринятой теории эпитета пока не существует” (Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. М., 1979. С. 3). К этому же выводу в 1997 году приходит И.Б. Голуб, вполне справедливо сегоущая на то, что “до сих пор наука не располагает разработанной теорией эпитета, нет единой терминологии, необходимой для характеристики различных видов эпитетов” (Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 1997. С. 139).

Создать классификацию каких-либо объектов означает выявить систему параметров, по которым эти объекты могут быть подразделены. Подразделение эпитетов возможно по следующему параметрам:

По способу обозначения соответствующего признака (прямому либо косвенному – с помощью метафоры, метонимии), то есть по х а р а к т е р у н о м и н а ц и и, эпитетам с прямым значением (*жёлтый луч, зелёный лес*) противостоят два типа эпитетов с переносным значением: **метафорические** (*золотой луч*) и **метонимические** (*зелёный шум*). Метонимические эпитеты образуются в результате использования стилистического приема, который именуется с м е щ е н и е м, ср. запах *белых роз* → *белый* запах роз, шум *зелёного леса* → *зелёный* шум. Поэтому метонимический эпитет иногда называют **смещенным**.

По с е м а н т и ч е с к о м у параметру выделяют эпитеты **цветовые** (*лазурное небо, янтарный мёд*) и **оценочные** (*золотой век, сере-*

ряный век); более подробная классификация в стилистике не практикуется, поскольку она будет дублировать семантическую классификацию прилагательных, разработка которой является задачей лексикологии.

В рамках структурной классификации принято выделять эпитеты **простые** (*дремучий лес*) и **сложные** (*пшенично-жёлтые усы, черногривый конь*). Сложные эпитеты представлены полиосновными прилагательными.

Сложный эпитет используется прежде всего как средство **с в е р т ы в а н и я** (сокращения):

1) сравнений: *белый, как снег* → *белоснежный; желтый, как пшеница* → *пшенично-желтый*;

2) цепочки эпитетов: *грустная сырая погода* → *грустно-сырая погода* (Н.В. Гоголь);

3) конструкций со значением принадлежности: конь с *черной гривой* → *черногривый конь*.

А.Н. Веселовский совершенно верно полагает, что эпитеты данного типа получили распространение относительно поздно: “Позднему времени отвечают сложные эпитеты, сокращенные из определений (то есть из цепочек эпитетов. – В.М.) (...) и сравнений” (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 70).

По степени освоенности языком эпитеты подразделяются на **общезыковые** и **индивидуально-авторские**. Характерными признаками **общезыковых** эпитетов принято считать воспроизводимость и “неоднократность употребления” (К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло): *белая береза, лазурное море, черногривый конь*. Индивидуально-авторские эпитеты представляют собой, по В.М. Жирмунскому, “новые и индивидуальные определения” (Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 359–360): *колючие звезды* (К.Г. Паустовский), *нецензурная погода* (А.П. Чехов).

По степени устойчивости связи с определяемым словом эпитеты можно подразделить на **свободные** (*белоснежная скатерть, синие глаза*) и **постоянные**, образующие с определяемым словом “фразеологическое клише” (В.М. Жирмунский): *туманный Альбион, светлое будущее, святое евангелие*.

Отличительная особенность постоянного эпитета – алогизм некоторых его употреблений, на что указывают многие ученые (А.Н. Веселовский, Ф. Миклошич, И.В. Шталь). Например: “Недавно Володьке Гусеву припаяли на суде. Его признали отцом младенца с обязательным отчислением третьей части жалованья. Г о р е молодого **счастливого отца** не поддается описанию” (М. Зощенко).

Стоит отметить, что эпитет может быть употреблен и без определяемого слова; этот стилистический прием называется **автономазией**. Условие успешности данного приема – достаточная прочность ассоциа-

тивных связей между эпитетом и определяемым словом. Приведем пример из стихотворения А. Блока “Люблю высокие соборы...”:

И тихо, с измененным ликом,  
В мерцаньи мертвенном свечей,  
Бужу я память о *Двуликом*  
В сердцах молящихся людей...

Квинтилиан определяет антономазию (устар. *антономасія*) как “эпитет, который после устранения определяемого слова получает значение имени” (Античные теории языка и стиля. СПб., 1996. С. 236).

При стилистическом подразделении принято выделять **разговорные** эпитеты (*цветастая* радуга, *ангельский* характер, *непролазный* лес), **газетные** (*солнечный* Узбекистан, *прогневивший* режим). В целом эпитеты довольно однородны в стилистическом отношении, поскольку составляют принадлежность художественной речи (речи книжной) и, следовательно, имеют книжный оттенок. Среди **книжных** эпитетов отдельно отметим **поэтические** эпитеты (*легкокрылые* мечты, *мятежная* душа). В художественной речи встречаются и так называемые **народно-поэтические** эпитеты – эпитеты фольклорного происхождения, освоенные литературным языком (*красна* девица, *гусли звончатые*).

**Фольклорные** эпитеты, свойственные устному народному творчеству, стоят за пределами литературного языка и его носителями не употребляются: жито *ядренистое*, камешочки *троерозные*, рожь *ужинистая*, *чужа-дальня* сторона, шапка *чернобархатная*, солнышко *восхожее*.

Приметами и фольклорного, и народно-поэтического эпитета являются употребление его в краткой форме не только в функции сказуемого, но и как согласованного определения (*красна* девка), сдвиг ударения (*сердце ретивбе*, чара *зеленá* вина), особое (отличное от общезыкового) значение и, соответственно, лексическая сочетаемость: *белая* заря, *пташечка плакучая* (о кукушке) (ср.: Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Указ. соч. С. 7).

Рассмотрим возможности **к о л и ч е с т в е н н о й** характеристики эпитетов.

Несколько образных определений, “дополняющих друг друга” (Веселовский А.Н. Указ. соч. С. 69) и дающих “разностороннюю характеристику объекта” (Galperin I.R. Stylistics. M., 1977. С. 161), образуют **цепочку эпитетов**: “Курорт, великолепный песчаный пляж, *золотистые ароматные* сосны” (В.М. Кожевников). Сосны охарактеризованы по параметрам “цвет” и “запах”. Двойной эпитет, дающий двухаспектную характеристику, иногда называют **вилкой**.

Длина цепочки может составлять три единицы: “За окнами шел

игольчатый льдистый мелкий снег“ (С.Н. Сергеев-Ценский). “Я заметил, – пишет Л.А. Озеров, – что эпитеты имеют обычай сбиваться в кучу, особенно часто в тройки; *тройчатки* (курсив наш. – В.М.) эпитетов. Редко они бывают полноценны, часто один ведет за собой другой и третий. Но дела всем троим не находится. Эпитет – не артельное понятие. Он – солист” (Озеров Л.А. Указ. соч. С. 385). Этому же мнения придерживается и Александр Блок. Вот что он пишет о стихах одного молодого поэта: «И невозможно нагромождать эпитеты: “осенний бледный тихий день”» (Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.–Л., 1962. Т. 5. С. 158).

Однако сам Блок может выстроить цепочку и из четырех эпитетов, как это мы наблюдаем в стихотворении 1915 года “Перед судом”: “Страстная, безбожная, пустая, / Незабвенная, прости меня!”.

Эпитеты в цепочке, которая представляется автору слишком длинной, громоздкой, не отвечающей требованиям размера (в стихотворном тексте), – могут быть разделены различного рода вставками:

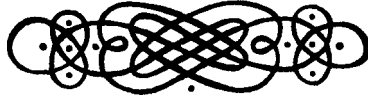
Где наша первая встреча,  
Яркая, острая, тайная  
В летний тот памятный вечер  
Милая, словно случайная?

Е. Белогорская. “Осень”

Сочетание с фигурами п о в т о р а дает следующие разновидности эпитетов: 1. **Тавтологический** эпитет, встречающийся в фольклорной речи (напр., горе *горькое*), повторяет корень опорного слова. 2. Так называемый **сквозной** эпитет (термин Н.Ф. Познанского) повторяется при нескольких словах: “Застенчивый укор / *застенчивых* лугов, / *застенчивая* дрожь / *застенчивейших* рощ...” (Андрей Вознесенский).

Итак, речь шла об эпитетах в узком понимании этого термина – как о красочных прилагательных, “оттенивающих” (П.А. Вяземский) существительные. При широкоем понимании в разряд эпитетов попадают наречия (приведем пример из “Общей реторики” Н.Ф. Кошанского: *непостижимо* тайное провидение, ср. *непостижимое* провидение), имена существительные (*волшебница-зима*), деепричастия (Волны несутся, *гремя* и *сверкая*).

Узкого понимания эпитетов придерживаются такие ученые, как А.Н. Веселовский, К.С. Горбачевич и Е.П. Хабло, А.П. Евгеньева, В.М. Жирмунский, В.В. Краснянский; различных вариантов широкого понимания – И.В. Арнольд, Л.А. Булаховский, И.Б. Голуб, Ю.М. Скребнев, Б.В. Томашевский. Оба подхода имеют длительную традицию.



## У языка, как у людей, – свои проблемы...

Г.А. ЗОЛотова,  
доктор филологических наук

Бегут, меняясь, наши годы,  
Меняя всё, меняя нас...

Пушкин писал это, наверное, и о нас.

Перемены, переживаемые нами и в общественной жизни, и в сознании, а значит и в языке, очевидны.

Но говоря о языке, нужно пояснить некоторые исходные положения.

Различаются понятия *язык* как система и *речь* как реализация языковой системы. В любом языке системные, внутренние процессы происходят медленно, в длительные сроки. Заметны, наблюдаемы изменения в речи говорящих. Однако понятия “речь” и “язык” так тесно связаны между собой, что нередко употребляются как синонимы.

Лексический состав любого языка изменяется и пополняется на протяжении всего его существования. Еще Гораций писал:

Как меняются листья в саду,  
С отживающим годом старые гибнут,  
Так и слова отжившие гибнут,  
А рожденные вновь наливаются юною силой...

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Академии наук занимается исследованием развития и современного языка, результаты чего были представлены в двух коллективных монографиях: “Русский язык и советское общество” (М., 1968, под руков. С.И. Ожегова и М.В. Панова), “Русский язык конца XX столетия” (М., 1996, отв. ред. Е.А. Земская и другие). В последней книге описываются особенности языка 1985–1995 годов, в ней много материалов, показывающих колебания норм, конкурирующее друг с другом употребление слов, грамматических форм и вариантов. Однако всегда остается наиболее интересным вопрос, почему, зачем язык ищет новые формы выражения.

Общественное сознание, языковой вкус времени проявляются больше всего в речевой деятельности говорящего (либо пишущего) лица.

Она всегда индивидуальна, но обусловлена (для каждого индивидуума – в своей мере) обществом: общественными преобразованиями; социальной средой, окружением говорящего лица; уровнем культурного развития говорящей личности.

Из этого вытекает следующий тезис. Монолитное общество единомышленников – это только утопический и пропагандистский лозунг из той жизни, от которой мы ушли. Ходила такая шутка: “Единомыслие – это когда одна мысль на всех”. Такого общества не бывает, и слава богу. Любое реальное общество состоит из сословий, слоев, групп людей разного образа жизни, разного достатка, разных духовно-культурных запросов и по-разному говорящих на одном и том же языке.

Поэтому неправомерно думать о русском языке как об однородном явлении. Судить следует не столько о языке, сколько о речи говорящих людей.

Но каждый общий процесс, происходящий в нашей жизни, наше осмысление происходящего получают выражение только через язык.

Эпоха общественных перемен отпустила язык на свободу от постоянной оглядки, от страха перед чужими ушами. Речевое поведение говорящего становится раскованным, непринужденным (одна из печальных поговорок прошедшего времени: “Сначала завизируй, потом импровизируй”). Человек освобождается от старых догм, от стереотипов мышления и речи, на смену бесцветному публичному стандарту приходит речь с яркими красками лексическими, стилистическими, словесной игры, шутки.

Некоторым специалистам речевые новации позволяют утверждать, что не только в обществе перемены революционны, но и в языке происходит революция. Можно по-разному оценивать пропорцию старого и нового. Все-таки в языке “старое” – это вечное, а “новое” – нередко эффектно, но эфемерно. Кажется, ближе к сути сравнение свежих красок языка с огнями вечернего города. Но сам город-то стоит от века. И продолжает жить даже при отключенном свете.

Ведь язык представляет собой одну из самых устойчивых сфер человеческого духа. Он хранитель, гарант вековых национальных традиций, духовной культуры. Еще в прошлую революцию звучало: “Пушкина, классиков – за борт современности!”. Не можем мы вообразить свою жизнь без Пушкина.

Другие специалисты и неспециалисты, пуристского толка, бьют тревогу, как и в разные времена, по поводу разрушения, гибели русского языка. А он, как великан, делает свое дело, обнаруживая свою мощь то в великолепных речах интеллектуалов начала перестройки (казалось бы, откуда, когда несколько десятилетий приучали всех писать и говорить по шаблону; вышколенные редакторы “обстругивали сосну в телеграфный столб”), то в талантливых работах ученых, писателей; по-



сверкивают блестками остроумия, словесной игры (а иногда и эрудиции) журналисты в газетах, на радио, на телевидении, студенты в своем фольклоре, в капустниках; оживились жанры печатного и устного анекдота, иронических афоризмов, присловий, пародийных передач.

Есть, конечно, и много мусора в языке, как и в жизни, особенно в ее переломные годы. Есть безвкусица, пошлость, малограмотность, но ведь это свойства не языка, а людей – носителей языка, говорящих личностей. А тут уж личность личности – рознь. Человек, который блюдет свой дом от мусора, так же бережет от мусора мир свой и своих детей.

Тут нельзя обойти трудный вопрос – о “моде” на непечатные слова, распространившейся и в кругах образованных людей. Матерная лексика превращается в печатную стараниями ряда писателей, бравирующих ею ради “правды жизни” (или ради коммерции?). Вряд ли превзошли они в правде классиков, которые в жизни слыхивали и такие слова, но умели и без них показать даже самые низы общества. Вероятно, дело скорее в бедности изобразительных средств у теперешних художников слова.

Можно сравнить эту дурную моду и в разговорах и в печати с вырвавшимся “на волю” купеческим разгулом, можно объяснить как протест против ограничений.

Но большинство людей, для которых всегда был неприемлем подобный способ самовыражения, не употребляли таких слов не потому, что они кем-то запрещались, а потому, что в них не нуждались: мир слов, чувств, интонаций безграничен и без них.

Надо надеяться, что наша культура (а это проблема больше культурная, чем языковая), переболев, справится с этой напастью. Объективно эта “мода” ведет к оскудению мысли, эмоций и к оскудению речи.

В названном выше академическом исследовании 1968 года в качестве социальных факторов развития русского языка назывались такие:

- изменение круга носителей литературного языка,
- распространение просвещения,
- территориальные перемещения народных масс,
- создание новой государственности,
- развитие науки.

Теперь обсуждаются и другие факторы. Некоторые авторы книги 1996 года ищут причины засорения языка в “общих деструктивных явлениях в области культуры и нравов”. Действительно, расслоение, поляризация общества идет и по критериям материальным, и по критериям нравственным. Но возможна иная интерпретация: происходит не деструкция нравов, а как бы их высвечивание.

В тех слоях общества, где была культура и прочная нравственность, они не так легко поддаются деструкции. Там, переживая трудности

времени, люди дорожат своим делом, своими духовными ценностями, семейными традициями. Они и остаются носителями культурного языка. Там, где были неустойчивая мораль, поверхностная пленка культуры, где переходный период нередко воспринимается как возможность ловить рыбку в мутной воде, там и речь людей, связанная с иными коммуникативными намерениями, с групповыми вкусами, с чужими стереотипами, становится засоренной, обедненной, неряшливой.

Конечно, все не делится так прямолинейно, культура и язык – не геометрия. Важно, что существует возможность выбора способов общения. И для понимания общественного сознания, его дифференцированности значимо то, что именно внутри нас склоняет нас к тому или иному выбору. Еще Ларошфуко писал: “Величие человека не в том, чтобы упрямо держаться своих пристрастий, а в решимости расстаться с плохим ради хорошего”.

Интересно наблюдать те языковые проявления, которые мотивированы моралью и социальной психологией. Покажу на примерах несколько аспектов вопроса:

отношение человека к себе подобным,  
отношение человека к делу,  
зависимость/независимость от “моды”,  
культура мышления.

Отношение человека к другому проявляется прежде всего в обращении, особенно к незнакомому. Во многих странах существуют традиционные обращения (*мадам – месье, сеньор – сеньора, пан – пани*), которые как бы содержат в себе аванс уважения.

В России все дореволюционные формы обращения, соответствовавшие той социальной структуре общества, были сметены и заменены словом *товарищ*.

Когда к 50-м годам возникли серьезные сомнения, действительно ли мы все товарищи друг другу, была дискуссия в прессе о том, какие обращения у нас возможны. Поэт Вл. Солоухин предложил тогда возродить *сударь–сударыня*, эту идею высмеивали: ладно еще: *Сударыня, вы обронили перчатку*, но: *Сударыня, вы забыли свою авоську!?*

От великих умов Франции великие умы России восприняли замечательную идею равенства. На советской почве она проросла неподвижным образом. Ревниво охраняя принцип “голого” равенства, люди были озабочены тем, как бы не переплатить другому в уважении и тем не принизить себя. Только в этом получает объяснение наконец найденная народом форма универсального обращения или оклика: *Мужчина! Женщина!* Все общественно значимые различия между людьми сведены к биологическому признаку пола, исключающему таким образом необходимость вежливости и учтивости.

Перестройка возвращает нам слова *Дамы и господа!* Так обращаются уже к присутствующим в публичных собраниях, по телевидению, в

объявлениях и рекламах. Принятого вежливого обращения к отдельному незнакомому лицу пока еще нет.

Но вот оборотная сторона отстаивания равенства. Отказавшись от старомодных и громоздких формул речевого этикета (вспомним: “буду иметь честь прислать вам своего секунданта” – Тургенев; “не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать” – Гоголь), не соответствовавших усложненностью ни отношениям между людьми, ни современному ритму жизни, с его динамичностью и лаконизмом, новое время ищет свои ресурсы вежливости.

Еще десять–пятнадцать лет назад в магазинах, в учреждениях, у кассовых окошек звучали просьбы, оснащенные уменьшительно-ласкательными словами: – *Колбаски двести грамм и кусочек сырку взвесьте*; – *Два билетика на нижнюю полочку*; – *Парочку бутылок пивка*; – *Справочку заверьте...* В поисках новых средств вежливости были найдены формы, которые еще А. Куприн, по воспоминаниям М. Куприной-Иорданской, характеризовал как язык приживалок около “благодетельниц”, признак нищенства и приниженности. Об этом у меня была статья в журнале Русская речь (1985, № 5), с тех пор продолжаю наблюдения.

Просто удивительно, как с уходом эпохи вечных дефицитов, зависимости простого человека от всемогущих торговых работников отпадает надобность в этих угодливых речевых приемах. Покупатели теперь держатся гораздо достойнее, а продавцы, утратив рычаги власти, разговаривают ласковее, и наоборот, теперь от них можно слышать просительные, приглашающие интонации: – *Вот этого сырку возьмите, посмотрите вот этот кусочек!* Цивилизация! Речь и здесь – производное от общественных отношений.

В учреждениях, в языке чиновников нередко сохраняется тот же оттенок приниженности говорящего перед начальством, выражаемый глаголами с приставками “неполного действия” *под-* и *при-*. Поскольку речь не идет о неполных действиях, употребление этих приставок придает высказыванию оттенок некоторого самоуничижения (*Директор подправил, Иван Иванович подсказал, Подошли вам бумаги на подпись, Не подскажите, когда подъедет Иван Иванович?*). Еще Маяковский использовал эти приставки как средство острой характеристики: “Прошел я, / глаза / к земле низя, / только подхихикнул, / ища покровительства”.

Глагол *подскажите* вместо *скажите*, *пожалуйста*, широко распространился в городской устной речи: – *Вы не подскажите, сколько времени? Не подскажите, где остановка автобуса?* и т.д. Такая ложная вежливость “на слуху”, и многие люди от нечуткости к языку доверяются ей.

В устной и письменной деловой речи еще сильны навыки советских говорюлен, сквозит отсутствие личной заинтересованности в результа-

тах работы: в конструкциях, где, по пословице, “от слова до дела сто перегонов”, нагромождаются неполнозначительные, модальные, безответственные слова. Вот несколько примеров из газет, из телевизионных выступлений, радиоинтервью:

*Мы работаем в этом направлении, чтобы всемерно способствовать принятию мер...*

*Есть позитивная тенденция в плане сокращения преступности. Надо вернуться к этой проблеме лицом...*

*Сейчас ситуация в этом плане имеет тенденцию к стабилизации...*

*И решить неотложные проблемы решения вопроса о возвращении заложников...*

Трудно сказать, чего больше в каждой из таких цитат – хитроумной уклончивости говорящего или неумения четко мыслить, в любом случае по речи видно и работника.

Бытовому просторечию всегда было свойственно не очень осмысленное употребление книжных, “умных” слов.

Сейчас сложился некоторый набор таких слов, без которых не обходится ни речи общественных деятелей, не обиходные разговоры. Эти слова, по-видимому, кажутся говорящим престижными, модными, современными (*ситуация, проблемы, неоднозначно, сложно, изначально, определиться, момент, по большому счету*). Но главное удобство этих слов – в отсутствии определенного значения, так что их можно использовать применительно к разным понятиям, не утруждая себя подбором точного слова, или вообще прикрыть ими пустоту; судите по примерам:

*Обстановка усугубляет ситуацию...*

*Пришлось поработать по преодолению ситуации...*

*Выставка ясно представляет неоднозначность жизни Грибоедова...*

*В какой-то степени это сложный вопрос, даже неоднозначный...*

*Этому помогают и наши информационные моменты...*

*Как бы там нужна однозначная ситуация...*

*Положение следует считать изначальноным...*

*В городах США чисто, поэтому замарать ботинки сложно...*

*Подобный результат сложно считать неожиданным...*

*Прямо скажем, фундаментальная наука поддерживается сегодня сложно...*

Возможности, предоставляемые говорящему подобными словами с резновыми свойствами, не способствуют никакому делу, но множат пустословие, лень, мысли, безответственность.

Особенно напористо и агрессивно повело себя слово *сложно*. В качестве предикатива оно почти вытеснило несколько близких по значению слов с их законных позиций (*Сделать это трудно и Ей трудно, Нести тяжело и Мне тяжело, Ответить нелегко и Мне нелегко* – в

XIX веке в подобных конструкциях *сложно* не встречается, сейчас – сплошь и рядом).

Лингвистический анализ показывает, что за такой подменой тоже стоит психологическая мотивация, конечно, не всегда осознаваемая говорящими, которые просто повторяют то, что часто слышат. Незаконность подмены состоит в том, что предикативы *трудно*, *легко*, *тяжело* называют состояние человека, субъекта, *сложно* состояния не обозначает, нет такого состояния. *Сложно* – это оценка дела, объекта (это может быть сложный проект, чертеж, узор, сложная схема, задача) – то, что требует интеллектуальных усилий, умения, знания. Поэтому нормальны конструкции *Мне трудно*, *больно*, *тяжело* (*Мне грустно и легко* – Пушкин), *Мне трудно, не под силу это сделать*, с субъектом состояния в дательном падеже, и *Дело это слишком сложно для меня*. Но неправильны фразы *Мне сложно* и *Сложно замараться*. Кроме просто неприятной навязчивости одного слова, впечатления обедненной лексики, говорящий вольно или невольно снимает с себя ответственность, прячет за свойства объекта свое неумение или нежелание сделать, либо предпочитает расплывчатость, неясность смысла.

Поддаваться или не поддаваться языковой моде, стремиться ли к ясности высказывания – это зависит от самостоятельности мышления, языкового чутья, от речевых намерений говорящего.

Еще в конце XIX века поэт говорил: “А у людей / такая уж порода / На фразы и на те должна быть мода” (Я. Полонский).

Вероятно, эпоха масскультуры усиливает притягательность образов для подражания, и более достойных, и менее достойных.

Общественные перемены вызвали целые потоки новых слов, вливающих сейчас в русскую лексику: это научно-технические термины, слова из международной политики, дипломатии, финансового дела, торговли, искусства и моды. Это естественно – новые понятия, технологии, новые предметы и явления требуют наименований. Думается, что в этом нет повода для тревоги о судьбах русского языка. Во все века взаимодействие культур служило обогащению лексики. Время покажет: нужное, полезное язык примет, лишнее – отторгнет.

Не межкультурными ли влияниями объясняются происходящие изменения в этикетных формулах приветствий? Вместо традиционного русского *Здравствуйте!* все чаще звучит *Добрый день!* *Добрый вечер!* *А До свиданья* вытесняется разговорным *Пока!* или *Привет!*, который произносится и при прощании и при встрече, либо пожеланием *Всего доброго!* Начинает стираться различие в употреблении падежных форм: *Доброе утро!* *С добрым утром!* говорится при встрече, а *Доброй ночи!* *Спокойной ночи!* – при прощании. Сейчас *Доброе утро!* звучит на радио как прощание ведущей, по окончании метеосводки, а *Доброй ночи!* – как пожелание в начале вечерней передачи.

Особую и интересную сферу языка составляет молодежный жаргон.

Это один из самых подвижных пластов лексики. И потому, что вчерашние молодые завтра становятся взрослыми, и потому, что противопоставленность взрослым не создает единой среды; в разной среде различны отношения между литературным языком и жаргоном. С разной остротой ощущаются в разных кругах и группировках молодежи и потребность в самоутверждении, и корпоративный дух, и обделенность вниманием старших, и неблагополучия во взрослом мире, и целенаправленность собственных интересов.

Студенты поигрывают “своими” наименованиями реалий университетского, вузовского быта, жаждут свежей экспрессии в оценочных словах (*классно! потрясно! фирмá! клёво! кайф! беспредел*), потом будучи ностальгически щеголяя ими при встрече с однокашниками.

Иной характер жаргона “приблатненных”, криминализованных групп. Там жесткая зависимость молодых от хозяина, герметичность арготизмов, непонятных окружающим, узость интересов ведут к крайнему обеднению словарного запаса и потребностей в литературном языке.

Среди говорящих литературно и пишущих считается хорошим тоном инкрустировать разговор в дружеском или профессиональном кругу известными словечками молодежного жаргона, как бы свидетельствуя тем свою “современность” (*тусовка, разборка, перебор, подставиться, совок, совковый, темнить, вешать лапшу на уши, вкалывать, не сечёт* и под.: *тусовкой* бойкие журналисты называют уже не только студенческую вечеринку, но и “саммит на высшем уровне”). Может быть, расширяя сферу бытования, такие слова меняют статус жаргонных на просторечные. Стилистические сдвиги, перемещения слов характерны для современного состояния лексики, а разностилевые рефлексы – для современной литературной речи.

Средства массовой информации неизмеримо расширили диапазон своих речевых ресурсов. Многие и пишущие, и говорящие журналисты успешно очеловечивают официальную речь, создают иллюзию непосредственного доверительного общения с читателем, слушателем. Хотя некоторые массовые издания, стараясь “по-свойски” разговаривать с молодежью, как кажется, иногда перекармливают читателя сниженными словечками. И средствам информации предстоит еще набирать культурно-интеллектуальную высоту, чтобы облагораживать сознание и язык своих адресатов.

Вся история русского литературного языка – это история взаимодействия, взаимообогащения книжно-письменной и народно-разговорной стихий. В переломные эпохи жизнь языка становится особенно интенсивной.

У языка, как у людей, – свои проблемы, трудности, утраты, находки. В преодолениях, в поисках современная русская речь обретает новые силы, новые краски, новые средства выразительности.

---

---

## Отвечаем любознательным

---

---

Часто можно слышать (иногда даже по радио и телевидению), как говорят: “Встреча (открытие чего-либо и т.д.) состоится *в районе 18 ч.*” или “Я вернусь с работы *где-то в 7 часов*”. Правильно ли это?

Употребление слов “в районе” и “где-то” для обозначения приблизительного, не совсем точного времени является ошибочным, поскольку указанные слова относятся исключительно к обозначению места. Например: Ограбление произошло в районе станции метро “Сокольники”; Этим летом они отдыхали где-то в Крыму. Для обозначения же не совсем точного времени лучше использовать слова *приблизительно, примерно, около*: Сегодня я вернусь домой *приблизительно (примерно) в 7 часов (или часов в семь)*; Гости разошлись *около 11 часов вечера*.

В разговорной речи часто употребляют выражение “Подскажите, пожалуйста, который час (где находится что-либо и т.д.)”. Верно ли это?

Употребление подобных конструкций является признаком просторечия. Правильнее в таких случаях употреблять глагол *скажите, пожалуйста...*

---

---

## РОССИЯ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ЗЕРКАЛЕ\*

А.П. ЧУДИНОВ,

*доктор филологических наук*

## III

Используемые в современном политическом пространстве метафорические модели – это отражение существующих в социуме неосознанных представлений о специфике данного этапа развития общества. Поэтому актуальность их исследования определяется не только собственно лингвистическими потребностями, но представляет собой междисциплинарную (лингвистика, социология, психология, политология) проблему.

Концептуальная метафора “Современная Россия – это военизированное общество” занимает важнейшее место в образном представлении нашей действительности на рубеже веков. Так сложилась российская история, что в судьбе едва ли не каждого поколения важное место занимала война, а поэтому военная лексика – это один из основных источников метафорической экспансии на самых разных этапах развития русского языка. Богатый военный опыт традиционно находил свое отражение и в национальной ментальности, военные метафоры как бы показывали наиболее эффективный путь для решения сложных проблем общества.

По наблюдениям целого ряда исследователей (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.Н. Кожин, Н.А. Кузьмина, Ю.Б. Феденева и др.), военная метафора – яркий признак отечественных политических текстов едва ли не всего советского периода существования нашей страны. К сожалению, современная российская действительность в немалой степени способствует дальнейшей активизации рассматриваемой модели. Речь в данном случае идет не только о военных действиях на Северном Кавказе, которые в официальных документах эвфемистически называются не войной, а контртеррористической операцией.

В соответствии с представлениями современной когнитивной семантики метафорическое моделирование – это отражающее национальное самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента действительности при помощи относящихся к совершенно иной понятийной области сценариев и фреймов.

Если использовать метафорический образ, то сценарий модели можно сопоставить с последовательностью кадров на киноленте, а

\* Окончание. См.: Русская речь. 2001. №№ 1, 3.



фрейм – с отдельным кадром. Если быть более точным, то сценарий модели следовало бы сравнивать не с каким-то конкретным фильмом, а с типовым содержанием фильмов определенного жанра (героическая эпопея, детектив, “мыльная опера” и т.п.). Соответственно фрейм – это как бы типичный кадр из таких фильмов (например, сражение, госпиталь, победа). Прагматический потенциал модели (сценария, фрейма, слота) – это типовое эмоциональное воздействие, которое способно оказать соответствующее высказывание на адресата.

Военная метафора навязывает обществу конфронтационные стереотипы решения проблем, ограничивая поиск альтернатив в их решении и в социальном развитии. Мы излишне часто вспоминаем поговорку “На войне как на войне”, забывая о том, что метафорическая война ведется в условиях мира, а в мирной жизни законы военного времени не применяются. Типичная метафорическая атака – это всего лишь элемент дискуссии, цель которой – поиск истины, а не физическое уничтожение противника.

Рассматриваемая метафорическая модель представляет российскую действительность как “войну всех против всех”. Политические деятели, партии, бизнесмены, журналисты и самые обычные граждане постоянно с кем-то воюют: *наступают* (часто под тем или иным флагом), *идут в рукопашную, обороняются, подводят мины, прячутся в окопах, занимают, оставляют или захватывают стратегические высоты*, используют *крупнокалиберную артиллерию, дымовые завесы* и другие необходимые для боевых действий средства. Политические войны ведут *штурмовики и десантники, разведчики и артиллеристы*, они воюют под руководством *маршалов и генералов*, которые разрабатывают *стратегию и тактику боевых действий*, планируют *десантные операции* и другие способы достижения победы.

Показательно, что в течение последнего десятилетия XX века российские политики, по крайней мере, четыре раза продемонстрировали справедливость метафорической формулы Карла Клаузевица “Война – это продолжение политики с использованием других средств”. Нехватка политических аргументов восполнялась использованием танков во время путча (1991), в конфликте президента и Верховного Совета (1993), в двух чеченских кампаниях. В такой атмосфере политическая полемика действительно воспринимается как своего рода предварительный этап военных действий, а политическая терминология объединяется с военной в единое целое.

При детальном рассмотрении метафорической модели “Российская действительность – это непрерывающаяся война” регулярно выделяются следующие фреймы.

#### 1. Фрейм “Война и ее разновидности”.

Входящие в данный фрейм слоты характеризуют виды ведущихся в России политических столкновений: чаще всего это *междуусобица, ре-*

вани, гражданская, информационная или холодная война; в близком смысле используются также наименования *кампания* и *поход*; иногда войну приходится вести на несколько фронтов, случается, что участникам конфликта приходится действовать в несколько эшелонов: “Пока, похоже, мы проигрываем *информационную войну*. Никак не можем доказать миру, что наши действия в Чечне законны и справедливы” (С. Иванов); “Демократы убедились, что *междуусобицы* контрпродуктивны для оппозиции” (А. Дубинин); “На предвыборном *фронте* без перемен: в Курганской области интрига развернулась только во втором эшелоне” (С. Сорокин); “Коммунистический *реваниш* на выборах-2000 уже невозможен, но медвежий *поход* не будет простым” (А. Зуев).

Типовые прагматические смыслы, формируемые метафорами этой группы, можно сформулировать следующим образом: современная российская действительность – это война всех против всех, наши политики, бизнесмены и даже самые обычные люди ориентированы не на совместное решение возникающих проблем, а на агрессивную борьбу с себе подобными.

## 2. Фрейм “Организация военной службы”.

В политической деятельности оказались востребованными самые различные воинские специализации. В ней принимают участие *разведчики, гвардейцы, десантники, диверсанты, стратеги, партизаны, бойцы штурмовых бригад*: «Красочный стиль губернатора Кондратенко, который обычно изобилует выражениями “*пятая колонна*”, “*диверсанты*”, “мировая закулиса” сам по себе никого не удивляет. Но противники губернатора считают, что демарш вызван желанием перенести выборы» (Г. Кравченко); «И придется Голубицкому вести свои *боеспособные кадры* в ряды “Единства”. Причем в самом начале колонны. Ну, не *в партизаны* же подается областной министр госимущества со своими *дружинами*?» (Е. Бокрина).

При метафорическом обозначении отношений между субъектами политической деятельности, нередко оказывается востребованной детальная структурированность воинской иерархии: “*Рядовые солдаты* избирательной кампании не всегда догадываются о стратегических планах своих командиров” (Н. Зайков); “Родина, которая нам все меньше мать и все больше *старшина*” (В. Шендерович); “Ельцин – *полководец* без армии” (С. Говорухин).

Образ русского человека в национальном самосознании (и, видимо, в сознании многих соседних народов) – это, конечно, образ хорошо подготовленного, смелого и упорного воина. Многовековая милитаризация русского сознания привела, помимо прочего, к тому, что значения многих подобных слов окружены неким романтическим ореолом. Это часто используется авторами текстов для прагматического воздействия на читателей, зрителей и слушателей.

### 3. Фрейм “Воинские части и подразделения”.

Политическое объединение, трудовой, творческий или иной коллектив, всякая группа совместно действующих людей в современной политической речи часто обозначаются как *армия*, *дивизия*, *полк*, *взвод*, *гвардия*, *десант*, *пятая колонна*, *дружина*, *партизанский отряд*. Сколько-нибудь значительная организация должна иметь *штаб*, *разведроту*, *боевое охранение* и другие военные структуры: “Полку генерал-губернаторов прибыло. К ранее избранным добавились три Владимира – адмирал Егоров, герой Чеченской войны Шаманов и генерал ФСБ Кулаков” (В. Цепляев); “Чернецкий проиграл, не смог устоять перед целой *армией* консультантов, газетчиков и прочих журналистов, которых натравил на него Россель” (С. Образов); «По словам С. Шойгу, фракция “Единство” в Думе – это не высший орган движения, а его *отряд*, *десант* в Государственной Думе» (С. Жданов).

Наименования всех указанных воинских подразделений и структур хорошо знакомы нашим соотечественникам, что создает возможность для актуализации при образном употреблении необходимых семантических признаков рассматриваемых слов: так, очень большое объединение людей метафорически обозначается как *армия*, поменьше – *дивизия* или *полк*, еще меньше – *взвод*. Во многих случаях актуализируются и дополнительные признаки слов рассматриваемой группы: например, очевидна яркая негативная эмоциональная окраска у составного наименования “пятая колонна” и не менее отчетливая позитивная окраска у близкого по смыслу наименования “партизанский отряд”.

### 4. Фрейм “Военные действия”.

Метафоры этой группы способны обозначать едва ли не всякие политические действия, производимые с особой интенсивностью, целеустремленностью, решительностью. В подобных случаях могут использоваться *сражение*, *бой*, *битва*, *баталия*, *массированный огонь* и др.: «Андрей Чехов призвал сделать ЦК и президиум КПРФ “*Боевыми органами*”. С тем, чтоб они, если надо, *воевали по-настоящему*» (А. Зверев); “Демдвижение: пейзаж после *битвы*” (А. Птицын); «Кампанию лидеру “Яблока” пришлось вести под *массированным огнем* государственных СМИ» (А. Дубинин).

Для обозначения различных видов боевых действий в агитационно-политических текстах образно используются следующие номинативные единицы: *кавалерийская атака*, *окапываться*, *отступить*, *выйти из окопов*, *обороняться*, *бомбардировать*, *лечь на амбразуру*, *штурм*, *осада*, *поход*, *артподготовка*, *прорыв*, *торпедировать*, *блокада*, *диверсия*, *пристрелка*: “*Атаковать* Путина в лоб сейчас – все равно, что защищать Басаева и Хаттаба – это самоубийство для российского политика” (В. Елохин); “Дальше неизбежное банкротство, если страна не сумеет совершить *прорыв* к эффективной рыночной экономике” (А. Птицын); «Обстановка в Думе типа “затишье перед *атакой*”. Бойцы готовятся к новым походам» (К. Попова).

Показательно, что многие из рассмотренных слов обладают и значительным позитивным прагматическим потенциалом: соответствующие действия будто заранее оцениваются как заслуживающие одобрения, сочувствия, поддержки. Общая милитаризованность сознания делает такие метафоры хорошо осознаваемыми, естественными для современной России: у людей даже не вызывает недоумения обозначение уборки картофеля как “битва за урожай”, отклонение закона в Думе – как его “торпедирование”, а серии выступлений в средствах массовой информации – как “телерадиопаляба”.

5. Фрейм “Виды вооружения и его использование”.

Участники политических боев применяют самые разнообразные виды вооружения для ведения боя. Оружие может быть как вполне современным (*артиллерия, танк, миномет, винтовка, боевая ракета* и др.), так и давно устаревшим (*копье, стрела, кинжал, шашка* и др.); воины заранее готовят боеприпасы (*патроны, снаряды, держат порох сухим*) и средства укрытия от огня (*окопы, блиндажи*). Помимо собственно оружия, в ходе боевых действий применяют также *щиты, маскхалаты, дымовые завесы* и другие средства защиты и маскировки. Политическое оружие испытывают на специальных полигонах, хранят на военных складах, при необходимости ремонтируют и, конечно, активно используют: «Наши доморощенные “зеленые” тоже приложили руку к *цевью ружья*, нацеленного в русский народ» (А. Лысков); «Много появилось тех, кто *шашки* с нами не тупил во время предвыборной кампании в Госдуму и во время президентской кампании» (С. Шойгу); «Переизбыток президентской власти – это *мина замедленного действия*» (А. Сунин); «В Фонд имущества с улицы не попадешь. Проще просочиться на военный *склад боеприпасов*» (К. Попова).

Подобная метафора, с одной стороны, позволяет представить средства политической борьбы как максимально эффективные, способные нанести врагам решительное поражение, а с другой – представить отношения внутри партий и движений как своего рода “фронтовое братство”, скрепленное тяжелыми испытаниями. В сознании граждан стирается граница между войной и мирной жизнью, суровые боевые законы как бы распространяются на гражданскую жизнь.

6. Фрейм “Начало войны и ее итоги”.

Для обозначения привлечения людей к политическим действиям или их освобождения от активной деятельности метафорически используются военные термины: *мобилизация, демобилизация, призыв, призывник, увольнительная, отпуск* и т.п.; “Путинский *призыв* во власть значительно отличается от ельцинской гвардии” (В. Соловьев); “Ельцин – *дембель*” (В. Шендерович); “Ударная роль отводится слухам, *мобилизованным* на службу политике. Эти слухи разят врагов президента наповал” (А. Плутник).

Соответственно для обозначения начала серьезных политических

столкновений используются милитарные наименования: *объявить войну, напасть, перейти Рубикон*; одни участники таких столкновений *одерживают победу*, а другие *терпят поражение*, результатом которого являются *плен, капитуляция, оккупация*, полученные победителем *трофеи* и *добыча мародеров*: “В течение 10 лет Ельцин непрерывно *капитулировал* перед украинскими президентами” (А. Солженицын); “Мой муж хотел излечить замордованную, ограбленную, униженную Россию от шайки господствующих *мародеров*” (Т. Рохлина); “Находясь в плену концепций рыночного детерминизма, нельзя рассчитывать на успех” (В. Иванов).

#### 7. Фрейм “Воинские символы и атрибуты”.

При характеристике политической ситуации нередко метафорически используются слова, обозначающие воинские символы и атрибуты: *знамя, флаг, мундир, погоны, дембельский альбом, строевой шаг, парад, салют, торжественный марш* и др.: “В такой обстановке трудно пройти в Думу *торжественным маршем: парад* победителей состоится в начале января” (А. Бувей); “*Чистота мундира* для Росселя стоит немного. *Под флагом* борьбы с неплательщиками составляется график отключений промышленных предприятий” (А. Бурков); “Был у нас *парад* суверенитетов, сейчас идет *парад* региональных законов” (В. Богачев).

Типовые прагматические смыслы подобных метафор определяются тем, что военная символика традиционно очень значима для России, хотя подобное словоупотребление нередко служит и сатирическим целям.

#### 8. Фрейм “Ранение, выздоровление или смерть”.

Поражение той или иной политической организации в борьбе с конкурентами, неудачи в идейной борьбе часто метафорически обозначаются концептами *рана, контузия, смерть, убийство, расстрел* и др.: “Такое впечатление, что вас когда-то это событие ранило? – Было *ранение*, была *ампутация*. *Фантомные боли* остались до сих пор” (К. Пряник); “Хорошая идея с 1993 по 1995 годы была *убита* неуклюжими действиями правительства” (А. Иванчин-Писарев).

Соответственно преодоление неудач может метафорически обозначаться как *выздоровление* и *выживание*, а помощь в ликвидации негативных последствий как *лечение*: «Парламентские выборы смертельно ранили НДР, *выздоровление* невозможно, и Виктору Черномырдину придется вместе с остатками своего “Дома” проситься на постой в берлогу» (А. Спицын); “На *выживание* правительства работает и другой фактор. Сегодня в его разгоне нет острой политической необходимости” (М. Ростовский).

Представленные материалы свидетельствуют о широком распространении милитарной метафоры в агитационно-политических текстах конца XX века. В современной России политическая деятельность ре-

гулярно концептуализируется как военные действия. В сознании наших политиков депутаты от другой партии – это не партнеры, которые предлагают другой путь к процветанию России, а воины враждебной армии, которую необходимо победить. Обстановка напоминает времена средневековой междуусобицы: самые ожесточенные битвы ведутся между недавними друзьями и союзниками, постоянно создаются причудливые коалиции, и каждая победа кажется грандиозным успехом, а не очередным шагом к полному разорению страны. И, как семь столетий назад, находится немало желающих съездить к Батью, чтобы поклониться, пожаловаться на врагов из соседнего городка и что-нибудь выпросить для себя.

Активное использование военной метафоры, видимо, отражает особенности национального самосознания наших современников, имеющиеся в нем мощные векторы тревожности, опасности и агрессивности, а также традиционные для русской ментальности предрасположенность к сильным чувствам и решительным действиям, уважение к военной силе и боевой славе. Показательно, что милитарная метафора в отличие от криминальной часто обладает положительной эмоциональной окраской.

Разумеется, некоторые рассмотренные особенности современных концептуальных метафор вызывают беспокойство, но тревожиться, конечно, следует вовсе не за состояние русского языка. Мудрый герой Михаила Булгакова справедливо заметил, что разруха (кстати, это одно из следствий войны) не в клозетах, разруха – в наших головах. Тысячелетняя история России – это во многом история войн, восстаний и вооруженных переворотов, оставивших глубокий след в национальном сознании. К сожалению, окружающая нас реальность мало способствует его значительному изменению.

Очевидно, что ни лингвисты, ни кто-либо иной не могут повлиять на активность рассмотренных или каких-либо иных метафорических моделей. Метафорический образ отражает бессознательное мировосприятие говорящего, формирующееся под влиянием национальных традиций и “духа времени”. Но языковеды обязаны зафиксировать существующую в национальном сознании на определенном этапе развития общества систему базисных метафор и попытаться сделать выводы об истоках и перспективах той или иной модели, а также рассмотреть факторы, способствующие ее активизации.

*Екатеринбург*



## ***ИГОРНЫЙ – ИГРАЛЬНЫЙ – ИГРОВОЙ***

*В.И. КРАСНЫХ,  
кандидат филологических наук*

Паронимы *игорный* и *игральный* существуют в русском языке в течение длительного времени: прилагательное *игорный* отмечено впервые в словаре Нордстета в 1780 г., а прилагательное *игральный* – в Российском Целлариусе в 1776 г.

Значение прилагательного *игорный* традиционно формулируется толковыми словарями следующим образом: **Предназначенный для азартных игр, связанный с ними.** При этом речь идет прежде всего о помещениях, где происходят азартные игры (в карты, в рулетку и т.п.): *игорное заведение, игорный дом, игорный клуб, игорный зал, игорная комната, игорный притон.* Существует для таких игр и специальный *игорный стол*, который для удобства играющих покрыт особым сукном. В последние годы широкое распространение получило и понятие *игорный бизнес.* Оно охватывает деятельность игорных заведений, казино, а также производство оборудования и предметов азартной игры и т.п. Проиллюстрируем употребление прилагательного *игорный* несколькими цитатами из современной художественной литературы и периодики:

“Мэрия разработала программу закрытия всех *игорных заведений,*

не успевших на сегодняшний день получить лицензии” (Сегодня. 1994. 28 мая); “Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в *игорный зал...*” (В. Катаев. Алмазный мой венец); “А ведь не кто иной, как Юрик, в *игорном доме* заправляет...” (Т. Полякова. Я – ваши неприятности); “Чтобы не тратить время попусту, Государственная налоговая служба решила переключиться на *игорный бизнес*” (Профиль. 1998. № 2).

Прилагательное *игральный* имеет следующее значение: **Предназначенный, служащий для игры, развлечения.** Оно сочетается преимущественно с существительными, обозначающими принадлежности для настольных игр: *игральные карты, кости, фишки, доски и столы*. Кроме того, *игральный* может употребляться и для обозначения некоторых помещений, где происходит игра, – *игральный зал, игральная комната*. Однако в последнем случае при употреблении слова *игральный* (в отличие от *игорный*) имеются в виду помещения, где игра обычно носит не азартный, а чисто развлекательный характер и при этом не обязательно является настольной. В этом и заключается специфика прилагательных *игорный* и *игральный*, позволяющая различать паронимические словосочетания *игорный зал, игорная комната*, с одной стороны, и *игральный зал, игральная комната* – с другой. Что же касается существительных *заведение, клуб* и *притон*, то они, будучи традиционно связаны с азартными играми, сочетаются только с прилагательным *игорный* и не могут образовывать паронимических сочетаний со словом *игральный* (хотя, конечно, слово *клуб* может сочетаться и с другими прилагательными, не входящими в данный паронимический ряд, например: *спортивный клуб, филателистический клуб*).

Из трех компонентов паронимического ряда, указанных в заглавии статьи, наибольший интерес с лексикографической точки зрения представляет, безусловно, прилагательное *игровой*. По возрасту это слово значительно моложе своих “собратьев” – впервые оно зарегистрировано в толковом словаре В. Даля, причем автор указывал и другой вариант этого слова – *игровый*. Первоначально круг существительных, с которыми сочеталось это прилагательное, был весьма узким. В качестве примеров, иллюстрирующих употребление *игровой*, Даль приводит такие словосочетания: *игровые песни* (“по которым играют игры в комнатах”, исполняя на деле то, о чем поется), *игровая книга* (в которой описаны различные игры), *игровые пальцы* (длинные и гибкие, т.е. приспособленные для игры на музыкальных инструментах), *игровый парень* (“мастер и охотник шутить, играть в беседные игры; затейливый, потешный”). Однако постепенно сфера употребления прилагательного *игровой* стала расширяться, следствием чего явилось формирование новых смысловых оттенков. В настоящее время по употребительности, широте оттенков значения и сочетаемости оно явно превосходит оба ранее рассмотренных паронима.



Основное, обобщенное значение этого прилагательного можно кратко сформулировать следующим образом: **Относящийся к игре, связанный с игрой.** При этом многозначное слово *игра* следует понимать в весьма широком смысле: игра как развлечение, спортивная игра, сценическая игра и игра как средство обучения чему-л., постижения чего-л. (например, как средство обучения иностранным языкам, вождению автомобиля и т.п.). Исходя из сказанного, можно выделить четыре оттенка значения прилагательного *игровой* и проиллюстрировать их примерами из периодики последних лет:

**1. Относящийся к игре как развлечению** (*игровой автомат, игровая площадка, игровая зона, игровая комната, игровой зал, игровое поле, игровое оборудование, игровая приставка, игровой эффект* и т.п.):

“Миллионы людей регулярно посещают бега, проводят время за карточным столом или у *игровых автоматов* (Коммерсант-Власть. 1999. № 45); “Почти повсеместно отсутствуют *игровые площадки* и жилых кварталах, при общежитиях, в учебных заведениях” (Комс. правда. 1998. № 242); “Выбор магазинов и товаров приводится в соответствии с набором игр в демонстрационных и *игровых залах*” (Известия. 1994. 19 мая); “На *игровую приставку* к телевизору пытались свалить вину за смерть четырехлетнего ребенка его родители в подмосковном Дзержинске” (Моск. комс. 1994. 18 июня).

**2. Относящийся к спортивным играм** (*игровые виды спорта, игровой состав, игровые качества, игровые варианты, игровые ситуации, игровой день, игровая стабильность, игровая дисциплина* и т.п.):

“За последние годы в команде дважды сменился почти весь *игровой* и тренерский *состав*” (Известия. 1994. 2 июня); “Любая команда вольна выбирать себе *игровые варианты*, наиболее подходящие для очередного матча” (Неделя. 1992. № 26); “Сборной не хватает тактической дисциплины, *игровой стабильности* и импровизации” (Известия. 1994. 17 июня); “После первого *игрового дня* определились три лидера чемпионата” (Радиостанция “Эхо Москвы”. 2000. 16 янв.); “Шестнадцать шахматистов мирового уровня зайдут в *игровую зону* клуба, чтобы встретиться в турнире” (Мир за неделю. 1999. № 9).

**3. Относящийся к игре актеров, сценический, художественный** (*игровое кино, игровой фильм, игровое мастерство, игровое начало, игровая программа, игровые эпизоды, игровые песни, игровые танцы*):

“На режиссуру *игрового кино* в сентябре впервые будет набирать курс молодой режиссер В. Хотиненко (Аргументы и факты. 1994. № 27); “По данным Госкино, в прошлом году в России выпустили всего 46 *игровых фильмов*” (Коммерсант-Деньги. 1999. № 43); «— Я до сих пор считаю, что “Золотая лихорадка” была лучшей *игровой программой*» (Мир за неделю. 1999. № 8); “Сложно был задуман образный строй будущего фильма: *игровые эпизоды* должны были перемежаться с хроникой” (Л. Лазарев. То, что запомнилось); «Кама Гинкас не вы-

краивает из прозаической ткани театральный “костюм”, а находит в самой прозе возможности для *игрового начала*» (Мир за неделю. 1999. № 7).

**4. Относящийся к игре как к средству обучения чему-л., постижения чего-л. (*игровая методика, игровой характер чего-л., игровой способ чего-л., игровой метод чего-л.*):**

“Все новое быстрее усваивается не нудной зубрежкой, а в процессе игры. Не случайно сейчас так модны *игровые обучающие методики*” (Профиль. 1999. № 2); “Если *игровой характер* жизни признан всеми безоговорочно, то и поведение мужчины за рулем напоминает не более чем игру” (Домашний очаг. 1999. Февраль).

Как видно из приведенных примеров, прилагательное *игровой*, имея свою собственную зону лексической сочетаемости и расширяя ее за счет обозначения новых реалий (например, *игровые автоматы, игровые приставки, игровые методики*), почти не вторгается на “территорию”, уже освоенную ранее его старшими “собратьями”. Исключением, пожалуй, являются лишь синонимичные словосочетания *игровая комната, игровая площадка, игровой зал*, с одной стороны, и *игральная комната, игральная площадка, игальный зал* – с другой. Однако, по всей вероятности, уже имеется тенденция к закреплению в языке указанных словосочетаний с прилагательным *игровой*. Аналогичным образом, при появлении в нашей стране автоматов, предназначенных для игры, они первоначально назывались *игральными автоматами*, а сейчас практически повсеместно используется другое наименование – *игровые автоматы*.

Интересно также отметить, что иногда встречаются случаи употребления прилагательного *игровой* и с существительным *бизнес*. Например: “В отличие от ресторанов московские казино никогда не доверяют подготовку своего персонала посторонним. Связано это со спецификой *игрового бизнеса*” (Аргументы и факты. 1999. № 8). Это, безусловно, случай ошибочного употребления прилагательного *игровой* вместо его паронима *игорный*, поскольку речь здесь идет о казино, где практикуются исключительно азартные игры. Впрочем, употребление сочетания *игровой бизнес* было бы, вероятно, оправданным, если бы имелось в виду производство, распространение и использование развлекательных игр и принадлежностей к ним, а также издание соответствующей литературы.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в современном русском языке достаточно четко прослеживается тенденция к разграничению рассмотренных паронимов, причем расширение сферы лексической сочетаемости происходит практически лишь у паронима *игровой*.

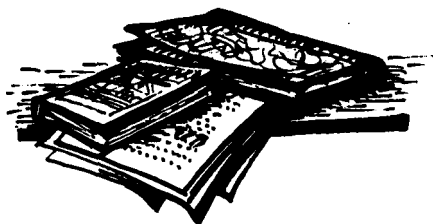
Однако данный паронимический ряд не ограничивается тремя указанными паронимами. В этот ряд входят еще четыре прилагательных:

*игранный, игроцкий, игривый и игристый*. Два первых связаны с карточной игрой и носят разговорный характер. Прилагательное *игранный* употребляется обычно только в словосочетании *игранные карты* (или *играная колода карт*), что обозначает уже употреблявшиеся для игры карты, которыми не принято играть в приличных компаниях, не говоря уже об игорных заведениях. Прилагательное же *игроцкий* относится к игрокам в карты и употребляется в таких словосочетаниях: *игроцкие байки, игроцкие анекдоты, случаи из игроцкой жизни*.

Что же касается паронимов *игривый* и *игристый*, то их употребление, на наш взгляд, не вызывает каких-либо затруднений с точки зрения разграничения с другими членами данного паронимического ряда, поскольку их значения и круг сочетаемости остаются стабильными на протяжении многих лет. Не останавливаясь подробно на характеристике этих паронимов, напомним только их значения и перечислим существительные, с которыми они обычно сочетаются.

У прилагательного *игривый* традиционно выделяются два основных значения: 1. **Любящий резвиться, играть, шалить** (*игривый ребенок, котенок, щенок, теленок, жеребенок* и т.п.). У этого значения есть еще и переносный оттенок: **Подвижный, с быстрыми изменчивыми движениями** (*игривый ручей, луч, игривые волны* и некот. др.). 2. **Легкомысленно-веселый, шутливый, кокетливый; двусмысленный** (*игривое поведение, настроение, выражение лица, игривые отношения, игривый смех, тон, игривая улыбка, походка, строгость, ворчливость; игривые мысли, жесты, анекдоты*).

А прилагательное *игристый* употребляется только применительно к напиткам и имеет значение: **Пенящийся, шипучий** (*игристые напитки, игристое шампанское, игристое вино, игристый квас*).



## О наречных предлогах

В.М. ГЛУХИХ,

кандидат филологических наук

Предлог – это служебное слово, выражающее синтаксическое отношение (пространственное, временное, образа действия, причины и др.) между управляющим словом и зависимым существительным: бродить в лесу, вернуться к обеду, бледнеть от страха и т.д. Наречие – это неизменяемое полнозначное слово, обозначающее признак какого-либо действия, состояния и т.п.: говорить громко, читать вслух, идти быстро, интересоваться постоянно и т.д.

В определенных контекстуальных условиях наречия нередко употребляются в значении предлога. Так появляются наречные предлоги: *Вокруг* тишина (наречие) и *Вокруг* школы ходить (предлог). В количественном отношении они представляют преимущественный тип предлога. И хотя они значительно уступают по употребительности первообразным, т.е. наиболее древним, предлогам (*без, в, до, за, к* и т.д.), тем не менее их использование в литературном языке – явление заметное.

Наречные предлоги благодаря своим ясным лексическим значениям с большей конкретностью и точностью выражают синтаксические отношения, придают им большую определенность. С этим связана их достаточно широкая распространенность в литературном языке.

Нетрудно заметить, что однокоренные наречные предлоги образуются путем перехода в них соотносительных наречий с четко вычленимым одинаковым корнем: *против – напротив, вокруг – кругом* и т.д.; *Бороться против* террористов – *Деревья растут напротив* дома; *Ходить кругом* дома – *Ходить вокруг* дома.

Однокоренные наречные предлоги составляют группы, состоящие из двух и более единиц: *близ – вблизи, вокруг – кругом, впереди – вперед – спереди, внутри – внутрь – изнутри, мимо – помимо, против – напротив, среди (среди) – посреди – посредине, сверх – поверх – сверху, сзади – позади, сбоку – обок.*

Нельзя не отметить, что в жизни однокоренных наречных предлогов происходят изменения: предложная лексикализация и архаизация. С одной стороны, расширяется круг выражаемых синтаксических отношений, а с другой – сокращается употребление некоторых из однокоренных наречных предлогов.

Под предложной лексикализацией следует понимать полное превращение наречия в предлог. При этом происходит утрата словообразовательной связи данного предлога с соотносительным наречием, так как такое наречие просто перестает существовать в современном языке. Вследствие этого слово в роли однокоренного наречного предлога выполняет только предложную функцию. Кроме того усиливается отвлеченность лексического значения этого предложного слова, а лексикализованный однокоренный наречный предлог становится многозначным.

Предложная лексикализация сохраняет в современном языке давнюю традицию. Так, по своей сути бывшие наречные предлоги *вне, кроме, между, пред, сквозь* функционируют в современном языке только как предлоги и воспринимаются как обычные, первообразные предлоги. К лексикализованным из однокоренных предлогов могут быть отнесены такие, как *помимо, против, сверх, среди*. Так, наречный предлог *помимо* в современном литературном языке выражает синтаксические отношения уступки, объектные, исключения, включения. Например: "...неприятная мелкая дрожь, рождавшаяся *помимо* его воли в груди, постепенно пронизывала все тело" (Ананьев. Танки идут ромбом); "Он (Левинсон) чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, *помимо* его воли" (Фадеев. Разгром); "Доходов *помимо* заработка не имею" (Словарь под ред. Д.Н. Ушакова) и т.д. Близкий по корню предлог *мимо* выражает пространственные отношения с оттенком значения образа действия, обусловленным лексическим значением предлога "минуя кого-что-н.". Например: "(Трехмесячный) ребенок протягивает ручонки обыкновенно *мимо* предмета" (Д.Н. Добролюбов); "На вторые сутки ночью он припелся к Анне совсем плох, сел на пол *мимо* лавки" (А. Толстой. Ходение по мукам).

Точно так же нелексикализованные однокоренные наречные предлоги в других группах (*напротив, поверх, сверху, посреди, посредине*) выражают только пространственное отношение.

Под архаизацией имеется в виду затухание предложной функции у однокоренного наречного предлога и медленное его выбывание из обихода. Это явление обуславливается известным смысловым тождеством данного однокоренного наречного предлога с другими в группе (ср. *кругом* и *вокруг*), сниженной стилистической (разговорно-просторечной) окраской (*обок* и *сбоку*) и угасанием актуальности этого предложного слова. Так что отдельные однокоренные наречные предлоги

со временем устаревают, и употребление их заметно сокращается. К архаизированным однокоренным наречным предлогам могут быть отнесены *кругом*, *обок*, *спереди* и, возможно, еще некоторые: ходить *кругом* дома, находиться *обок* него и т.д. Эти фразы произносим с какой-то неловкостью, с долей неестественности. Вместо этих предложных слов в современном литературном языке употребляются более точные и удобные синонимические слова и выражения (*вокруг*, *около*, *рядом* с... и др.): ходить *вокруг* дома, находиться *рядом* с ним.

Наконец, главный вопрос наших заметок – о синтаксических функциях однокоренных наречных предлогов в современном русском литературном языке.

Известно, что синтаксическая функция (грамматическое значение, роль) предлога определяется сущностью его лексического значения. Лексические значения однокоренных наречных предлогов, как отмечалось, ясны. Они достаточно полно описаны и проиллюстрированы в толковых словарях русского языка. Это избавляет нас от разбора их.

Выясняется, что большинство однокоренных наречных предлогов однозначны – выражают то или иное, в зависимости от лексического значения, пространственное отношение. Но некоторые из них многозначны. К ним, как уже отмечалось, относятся лексикализованные наречные предлоги. В соответствии с этим однокоренные наречные предлоги выделяются в две разновидности: 1) группы однокоренных наречных предлогов, в каждой из которых один предлог многозначен: *против* – *напротив*, *среди* – *посреди* – *посредине*, *близ*–*вблизи*, *сверх* – *поверх* – *сверху*, *мимо* – *помимо* и 2) группы однокоренных наречных предлогов без четко выраженной многозначности: *вокруг* – *кругом*, *впереди* – *вперед* – *спереди*, *внутри* – *внутрь* – *изнутри*, *сзади* – *позади*, *обок* – *сбоку*.

Так, в группе *среди* (*среди*) – *посреди* – *посредине* предлоги *посреди*, *посредине* выражают пространственные отношения, иногда с определенным оттенком, если управляющее слово – имя существительное. Например: “Муха ползла по лампе, стоявшей *посреди* стола на перевёрнутом глиняном кувшине” (Стаднюк. Люди не ангелы); “– Девочки, хотите варенья? – говорила Любка, усевшись *посредине* камеры на пол и развязывая свой узелок” (Фадеев. Молодая гвардия).

Их коррелируют по корню *среди* (*среди*) многозначен: “...*среди* сцены стоит человек в пальто и цилиндре...” (М. Горький. Проходимец) – пространственное отношение с определительным оттенком; “*Среди* шумного бала... тебя я увидел” (А.К. Толстой) – временное отношение; “Разумеется, *среди* разрушаемого есть много старого, изжитого...” (М. Горький. О цинизме) – объектное отношение и т.д.

Однокоренные наречные предлоги в группах 2-го типа выражают, как правило, одно пространственное отношение, иногда с определительным оттенком (в конструкциях с управляющим именем существи-

тельным) или, чаще, без него. Кстати, в этих группах отсутствуют лексикализованные наречные предлоги. Вот некоторые примеры: “Все заняли свои места *вокруг* стола” (Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы); “У ног Людмилы спит Руслан, и ходит конь *кругом* кургана” (Пушкин. Руслан и Людмила); “*Обок* соседнего огорода, в поляни... лежали веером на брюхе трое” (Фадеев. Молодая гвардия); “*Сбоку* стола... сидел пострадавший комендант” (А.Н. Толстой. Хождение по мукам) – пространственное отношение с определительным оттенком.

В редких случаях отдельные однокоренные наречные предлоги из рассматриваемых групп могут быть использованы для выражения непространственных отношений. Но эти отношения так нечетки, сложны и переносны, что определить их становится довольно трудно. Например: “*Вокруг* сугубо технических вопросов развертывается острая борьба” (Из газеты).

В заключение обратим внимание на наиболее общие стилистические свойства однокоренных наречных предлогов. Большинство из них (*вокруг, мимо, помимо, против, напротив, сверх, среди, посреди* и др.) характеризуется нейтральностью употребления: они применяются в разных речевых стилях и жанрах. Некоторые из них (*кругом, обок, близ, спереди, посредине*) имеют разговорно-просторечную окрашенность, их употребление ограничено. А в целом все они, обладая ясными лексическими значениями, служат для уточнения и конкретизации синтаксических отношений между зависимым именем существительным и управляющим, обычно глагольным словом. Этим объясняется достаточно высокая распространенность многих из них в современном русском литературном языке.

*Магнитогорск*



## Приветствия и этикет

О.А. КРЫЛОВА,  
доктор филологических наук

Хорошо известно, что язык развивается, и в процессе его развития постепенно изменяются языковые нормы. Однако не менее хорошо известно, что **нормы литературного языка по природе консервативны**. Если бы нормативным безотлагательно и безоглядно признавалось все новое, что возникает в речи, мы не имели бы литературного языка вообще, так как литературный язык есть результат тщательного и длительного отбора языковых средств. Языковой идеал, по меткому выражению А.М. Пешковского, – единственный из всех идеалов, который лежит *позади*, т.е., овладевая литературным языком, мы стремимся говорить так, как говорили лучшие писатели, наши учителя, родители, – словом, представители старшего поколения.

С этих позиций рассмотрим тот фрагмент русского речевого этикета, который связан с речевым актом **приветствия**. Известны и употребительны в среде носителей русского языка различные приветствия, отличающиеся стилистической окраской, степенью распространенности и сферами функционирования, но являющиеся при этом именно приветствиями:

*Здравствуй! Здравствуйте! Добрый день! Доброе утро! Добрый вечер!* (стилистически нейтральные, уместные в любой обстановке и при различном характере отношений между общающимися);

*Приветствую Вас!* (несколько архаическое, с оттенком торжественности, уместное в официальной обстановке);

*Привет! Салют!* (разговорные, фамильярные, при наличии неофициальных отношений между говорящими);

*Приветик!* (разговорно-просторечное, сниженное, иронически-шутливое, возможное только в неофициальной обстановке, между находящимися в дружеских отношениях говорящими);

*Хэлло! Хай!* (зайствованные из английского языка, являющиеся принадлежностью молодежного жаргона, уместные в неофициальной обстановке при наличии неофициальных отношений между общающимися).



С точки зрения синтаксиса все эти приветствия не являются предложениями в грамматическом смысле, т.к. они лишены грамматического значения предикативности (соотнесенности с модально-временным планом); но коммуникативными единицами (коммуникатами) они, безусловно, являются. Такие коммуникаты служат не для передачи собеседнику какой-либо информации, не для побуждения кого-либо к действию и не для запроса информации, как обычные повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, а являются реакцией на ситуацию или слова собеседника. Русский речевой этикет требует, чтобы **на приветствие отвечали только приветствием**. Не ответить человеку на его приветствие – означает проявить к нему неуважение, что является нарушением не только речевого этикета, но и этических норм, принятых в культурном обществе.

То, что все приведенные выше приветствия являются таковыми, доказывается, в частности, их взаимозаменяемостью (разумеется, при условии их стилистической однородности или стилистической нейтральности); например:

(1) – *Приветствую Вас!*

– *Здравствуйте!*

(2) – *Здравствуйте!*

– *Добрый день!*

(3) – *Привет!*

– *Салют!*

(4) – *Доброе утро!*

– *Привет!*

(5) – *Приветик!*

– *Хай!* и т.п.

В последнее время достаточно типичной стала речевая ситуация, подобная следующей: Вы звоните знакомому, трубку снимает его сын (или дочь), и Вы, прежде чем обратиться с просьбой позвать к телефону Вашего знакомого, естественно, здороваетесь с тем, кто снял трубку. И вот тут Вас ожидает сюрприз:

– *Здравствуйте!* – говорите Вы и слышите в ответ:

– *Да.*

Или:

– *Добрый вечер!* – говорите Вы, а в ответ раздается:

– *Добрый!*

Естественная реакция – это состояние легкого шока, заставляющее Вас на мгновение замереть. В зависимости от настроения (и характера) Вы или с нажимом повторяете приветствие, добываясь ответного “*Здравствуйте!*” (или “*Добрый вечер!*”) или же просто просите позвать к телефону имярек.

Почему такие реплики-реакции, как “*Да*” и “*Добрый!*” в речевом акте приветствия шокируют звонившего? Потому, что они не соответ-

вуют ни синтаксической, ни стилистической норме, а также нарушают правила речевого этикета. Как это можно доказать?

В норме реплика “Да” функционирует как ответ на вопрос. Но ведь звонивший никакого вопроса не задавал и на свое приветствие, естественно, ожидает только приветствия, а его-то и не последовало. Высказывание “Добрый!” – это уже предложение, выступающее тоже или как ответ на вопрос (но предложение неполное, как в случае, например: *Иван Кузьмич – добрый человек? – Добрый!*”), или же как сообщение, подтверждающее предыдущее (как в диалоге: “*Иван Кузьминч, по-моему, человек добрый. – Добрый!*”). Но ни вопроса, ни сообщения, которые нуждались бы в ответе или в подтверждении, не было, и, как и в первом случае, звонивший в ответ на свое приветствие не услышал ожидаемого приветствия. В обоих случаях произошло то, что в прагматике называют **коммуникативным сбоем**.

Приветствие говорившего фактически было **проигнорировано**, так как в ответ он **не услышал приветствия**, а значит, был нарушен речевой этикет, поэтому говорящий испытал эмоциональный дискомфорт, какой может испытать человек, протянувший руку для пожатия, когда эту руку вольно или невольно не заметили.

То, что реплики “Да” и “Добрый!” никак не могут интерпретироваться как приветствия, можно подтвердить и тем, что они не характеризуются той взаимозаменяемостью, о которой шла речь выше; так, нельзя представить себе такого обмена “приветствиями”, как, например:

(1) – *Добрый!*  
– *Здравствуй!*

Или:

(2) – *Да.*  
– *Добрый!*

Или:

(3) – *Привет!*  
– *Добрый!*

Или, наконец:

(4) – *Добрый!*  
– *Добрый!*

Кроме того, сочетание “Добрый день!” (“Доброе утро!” и “Добрый вечер!”) являются устойчивыми и неразложимыми и в качестве приветствия выступают только в полном своем составе. Можно попытаться объяснить использование в роли приветствия только первой части этих сочетаний действием закона экономии произносительных усилий. Но и в этом случае окажется, что собеседник нарушил и языковую норму, разрушив без необходимости устойчивое, фразеологическое сочетание, и в то же время сэкономил на приветствии (!), чем вольно или невольно выказал если не свое неуважение к собеседнику, то явное к нему невнимание.

Таким образом, употребление “Да” и “Добрый!” в качестве приветствия приводит к нарушению языковых (синтаксических и стилистических) норм, к коммуникативному сбою и нарушению правил речевого этикета. Следствием этих нарушений и является ощущение того, что приветствие было проигнорировано, а это у воспитанного человека с хорошим языковым чутьем не может не вызвать состояния эмоционального дискомфорта.

Разумеется, нормы могут изменяться, о чем было уже сказано. Но **это изменение должно быть коммуникативно оправданным**; без необходимости, только из любви ко всему новому или из слепого подражания моде нарушать нормы не следует. В связи со сказанным можно напомнить статью академика В.И. Абаева “Лингвистический модернизм и дегуманизация науки о языке”, опубликованную еще в 1963 году (в журнале “Вопросы языкознания”, № 3), где ученый писал: “Когда общество вступает в полосу духовного кризиса, оно начинает судорожно хвататься за все новое. Но так как это делается в условиях идейной опустошенности и оскудения, то поиски нового идут преимущественно по линии формы, формальных средств, формальных ухищрений, формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует, остается крайне убогим и примитивным” (Цит. по книге: М.И. Исаев. Василий Иванович Абаев. М. “Наука”, 2000. С. 104).

Требование разумного консерватизма в соблюдении норм означает, что носители литературного языка не должны бездумно следовать языковой моде. Речь идет вовсе не о пропаганде пуризма – полного и категорического отвержения всего нового в языке, независимо от того, целесообразно ли это новое с коммуникативной точки зрения или нет. Речь идет лишь о необходимости критического отношения к различным речевым новациям, о необходимости их всестороннего анализа, с тем, чтобы не спешить объявлять их новой нормой. Именно бережное отношение к языку (а значит, и к сложившимся нормам литературного языка) – показатель высокой речевой культуры и общей культуры как отдельных носителей языка, так и всего общества в целом.

*Язык рекламы*

## ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ

*Н.И. КЛУШИНА,  
кандидат филологических наук*

Как показывает опыт, наиболее эффективной оказывается та реклама, которая внушает нам положительные, приятные ощущения (недаром рекламу называют искусством оболыщения): радость, комфортность, спокойствие, оптимизм.

Американские исследователи доказали, что реклама, апеллирующая к негативным эмоциям – страху, раздражению, отвращению, хоть и тоже быстро запоминается, но малоэффективна. Красные, раздражающие глаз шарики в телерекламе, показывающие боль в суставах и спине, скрюченная фигура вызывают беспокойство.

Но в большинстве случаев на экранах мелькают счастливые лица молодых мам и “сухих” малышей в памперсах, улыбаются любители кофе “Нескафе” и популярных жевательных резинок.

В печатных же текстах светлый образ рекламы создается с помощью лексики, включающей в свое значение положительный компонент (чистота, уют, комфорт и т.п.) и связанной в восприятии читателей с приятными ощущениями.

Основная опора рекламиста при создании текста – это удачно выбранное слово, которое создает полный, привлекательный для покупателя “имидж” Товара.

С точки зрения морфологии ключевыми в рекламе становятся не только существительные, но и глаголы, прилагательные и наречия.

Глаголы в рекламном тексте, как правило, стоят в настоящем времени и называют только те действия, которые приносят положительные результаты: *помогает, лечит, избавляет, укрепляет, защищает, гарантирует, улучшает, предохраняет* и т.п. Прошедшее время употребляется гораздо реже, чем настоящее. Оно используется в описании проводившихся исследований как констатация уже достигнутых результатов: *создал, прославился, подарил надежду...* Будущее время глаголов редко встречается в рекламных текстах, так как оно приводит к проблеме достоверности/недостоверности: *улучшит* (а может быть, и нет?), *замедлит* процесс старения (или нет?)... А *улучшает, замедляет* – значит, действует уже сегодня, сейчас.

Одной из функций рекламы является открытый призыв к приобре-

тению различных товаров. Поэтому повелительное наклонение глаголов часто используется рекламистами: *Попробуй! Выиграй! Купи!*

Ключевые слова призваны организовывать текст и способствовать его лучшему запоминанию, они являются тем “раздражителем”, который привлекает к себе внимание читателя, именно они надолго остаются в памяти. Но и требования к таким словам высоки: они должны отражать основные свойства называемых ими предметов, понятий, процессов, а не затушевывать их, не размывать границы определения.

К сожалению, современная российская реклама – это сказки для взрослых. Ключевые слова не играют в ней организующей роли, не являются достоверными, а подчиняются плохо скрываемой прагматической функции – усилить положительное впечатление от рекламируемого Товара. Определения в рекламе однообразны, невыразительны и скучны” *престижный, высококачественный, прогрессивный, уникальный, исключительный*. Подобные определения – это штампы, кочующие из одной рекламной статьи в другую. Они десемантизируются и начинают играть уже другую роль – не убеждения, а гипноза. Происходит подмена функций: функцию убеждения отходит на второй план, а на первый выдвигается магическая функция языка, существовавшая с древнейших времен. Именно отсюда в современной рекламе так много синонимов, плеоназмов, повторов. Это те приемы, которые действуют на нас независимо от нашей логики, с их помощью в наше сознание “вколачивается” “нужная” информация: “Совершенно не дует. Совершенные окна из пластика”. Или в рекламе “Подарите себе английский от Denis School” (АиФ. 2000. № 9) нам внушается, что “в основе метода – исключительное понимание”, и “этот метод доказал свою исключительность”. В рекламе “Витязя” «этот препарат эффективно и гарантированно лечит на дому,.. эффективно, быстро и безболезненно нормализует “каркас” организма» и т.д. Подобные повторы по своей функции близки к древним заклинаниям: они усыпляют сознание читателя, гипнотизируют его. И только очнувшись от гипноза, человек сможет задать себе вопрос: “А чем же маркет такой супер?” (АиФ. 1999. № 26). И ответить: «Разве что ценами. Так за углом можно купить в три раза дешевле и не надо будет спрашивать: “Это у вас цены или номера телефонов?”». (К сведению производителей всевозможных “маркетов”: маркет – это в переводе все-таки “рынок”).

Но если повторы усыпляют сознание читателя, то юмор в рекламе, наоборот, привлекает к себе внимание. Читатель улыбнется шутке рекламиста и запомнит текст, который доставил ему приятные минуты. Например, в рекламе “Волосы вырастут снова” под рубрикой “Ваш имидж” (АиФ. 2000. № 9) преимущество лысого мужчины перед мужчиной “с полноценной шевелюрой” признается тот факт, что лысый человек “не так часто посещает парикмахера”. Аргументом в пользу

выбора стирального порошка “Ласка”, предназначенного для стирки шерстяных изделий, становится утверждение: “Он сразу же по достоинству был оценен взыскательными домохозяйками: еще бы – ведь им можно было мыть даже собак, чья шерсть не становилась от этого менее блестящей!” (“АиФ”. 2000. № 8). Вызывает улыбку и реклама ВАЗа “по прекрасной цене от 75 руб. за 1 кг” (Экстра М. 2000. № 9), и реклама окон “без пыли и шума”, где изображена закупоренная банка, внутри которой девушка беззаботно читает газету (Экстра М. 2000. № 9).

Эмоциональным аргументом в релкаме становится слово или символ, вызывающие в сознании читателей положительные ассоциации. Однако ассоциации могут быть и отрицательными, тогда возникает антиреклама. В Санкт-петербургской газете “Вести” (2000. № 7) в заметке “Нет – наркотикам. И парфюмам” речь шла о судьбе французских духов “Опиум” в Китае: «Китайские власти через 5 лет после появления на прилавках магазинов страны флакончиков с привлекательным названием “Опиум” запретили торговлю популярными французскими духами. Фирма, поставлявшая духи, лишена лицензии. Основанием для такого неожиданного и сурового решения послужило недовольство покупателей, усмотревших в названии духов форму “духовного загрязнения” китайского общества, особенно молодежи. Центральные власти также пришли к мнению, что “это слово” (опиум) оказывает на китайское общество “негативное влияние”». Были приняты во внимание и исторические факторы – распространение курения опиума в Китае в XIX веке и в начале 20 столетия и, конечно же, “опиумные войны”.

Положительно воздействует на наши эмоции и связь рекламируемого Товара с понятием престижности. Это престижно, значит, стоит купить. Но часто в языке понятие престижности и моды неоправданно связывается с иностранными словами, которые звучат необычно, ново, но затемняют смысл высказывания, иногда неправильно употребляют-ся. К сожалению, стремление рекламистов к престижу приводит к обратному эффекту: напыщенности и испорченному красноречию (см. статью автора “Испорченное красноречие”: вчера, сегодня и... всегда? // Русская речь, 1999. № 1. С. 55–60). Экспансию заимствованных слов осуждают читатели российских СМИ: «Мы дружно проливаем слезы умиления над Францией, где на высшем законодательном уровне борются за чистоту языка. А что у нас? Интервью только “эксклюзивные”, встречи – “приватные”, мышление – “креативное” “Импичменты”, “брифинги”, “плебисциты” сняты в страшных снах даже рядовому “электротату”. Никакие “допинги” и “шейпинги” тут уже не помогут. От “шопов” и “бутиков”, “супермаркетов” совсем житья нет» (АиФ. 1999. № 26). И действительно, заимствованное слово не столько престижно, сколько туманно для рядового потребителя. Давление на него слишком велико. Именно поэтому российская реклама столь навязчива и агрессивна.



## РЕЧЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ЛЕТОПИСНЫХ ВОИНСКИХ ПОВЕСТЯХ

*Н.В. ТРОФИМОВА,  
кандидат филологических наук*

Одним из древнейших приемов летописного повествования была передача прямой речи персонажей.

Особенности ее использования легче всего проследить по текстам разных авторов, рассказывающих об одних и тех же событиях. В качестве примера остановимся на воинской повести под 1149 годом, которая вошла в Киевскую и Суздальскую летописи XII века. Эти своды относятся к эпохе феодальной раздробленности и сохранились соответственно в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях.

В повести содержится рассказ о походе Юрия Долгорукого, князя Владимиро-Суздальской земли на киевского князя Изяслава Мстиславича, который обидел Ростислава, сына Юрия Долгорукого. В летописной статье под 1148 годом сообщается о том, что Ростислав Юрьевич, посланный отцом в помощь Ольговичам против Изяслава Мстиславича, не пошел к ним (помня, что они всегда были врагами его предков), а ушел к Изяславу, который принял его и дал удел.

Повесть 1149 года начинается с краткого упоминания о бесплодном походе Изяслава Мстиславича в помощь новгородцам против Юрия Долгорукого и возвращении в Киев. Завязка действия носит религиозно-символический характер: якобы недовольный ходом событий дьявол вложил злой умысел в сердца неких воинов Изяслава, и те оклеветали Ростислава – как будто бы он собирался захватить Киев. Изяслав изгнал молодого князя, тот вернулся к отцу и обо всем рассказал ему. Князь Юрий пошел в поход против Изяслава, в пути к нему присоеди-

нились Святослав Ольгович, Святослав Всеволодович и союзные половцы. Киевляне пытались уговорить Изяслава заключить мир, но он отказался. Победа князя Юрия в состоявшейся битве является кульминацией сюжета. Изяслав вынужден был бежать в Киев, а оттуда в Луцк. Князь Юрий Долгорукий сел на престол в Киеве, а Ростиславу отдал Переяславль.

Изложение хода событий в повестях по двум летописям различается прежде всего частотой использования прямой речи (Киевская летопись – 32 случая, Суздальская – 9). Некоторые ее эпизоды практически полностью совпадают: “Тако ли мне нету причастья в земли Русстей и моим детям” (речь Юрия, узнавшего об изгнании Ростислава. Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. М., 1997. Т. 1); “Тако ли мне части нету в Рускои земли и моим детям” (Ипатьевская летопись. ПСРЛ. М., 1998. Т. 2). Другие речи одинаковы по смыслу, но в Киевской летописи более развернуты. Например, речь киевлян, клеветующих на Ростислава, содержит перечисление тех несчастий, которые принесет городу и его князю выполнение, коварного на их взгляд, замысла Ростислава Юрьевича.

Совпадающие в обеих летописях речи передают намерения персонажей, характеризуют героев, и в первую очередь Изяслава, который предстает перед читателем как легковерный, действующий под влиянием чувств человек. Возмущенный тем, что Юрий привел на него половцев, он решает биться с ним, не рассчитывая свои силы: “Оже бы пришел сам толико з детми, то которая бы ему волость люба, ту же бы взял, но же на мя привел половци и ворогы мое Ольговиче, то хочю ся бити”. Несмотря на требование киевлян и уговоры епископа примириться с князем Юрием, Изяслав убежден в своем праве сразиться и отстоять земли: “Добыл есм головою своею Киева и Переяславля”.

Таким образом, суздальский летописец избрал для повествования только тот тип прямой речи, который традиционно был непосредственно связан с сюжетным построением текста.

Более разнообразны функции и типы прямой речи повести из Киевской летописи. Сюжетные реплики еще глубже раскрывают побуждения действующих лиц, ярче характеризуют их, как, например, слова Ростислава, адресованные отцу по возвращении к нему. В Суздальской летописи этот случай прямой речи отсутствует, автор лишь упоминает о том, что Ростислав рассказал князю Юрию о происшедших с ним коллизиях. Киевский летописец приводит реплику молодого князя, содержащую призыв к отцу идти на Изяслава Мстиславича не только за обиду сына, но и потому, “оже хочеть тебе вся Руская земля и черньи клобук”. Это дополнение говорит о Ростиславе как о человеке умном и тонком, который понимает, что, возможно, отец и не захочет вступить за ослушавшегося сына, но непременно отправится против Изяслава, если будет уверен в захвате Киева. В сюжетном отношении речь эта



мотивирует решение князя Юрия и способствует дальнейшему развитию действия.

Сюжетную роль и в то же время функцию детализации повествования выполняют речи бояр и князей, обращенные к Изяславу: “Княже, не езди по нем. Отъяти перешел земли, а трудился, а седе пришед не успел ничтоже, а то уже поворотися прочь, а на ночь отидет, а ты, княже, не езди по нем”. Другие же советовали: “Поеди, княже, привел ти Бог, не упустим его прочь”. Изяслав выбрал поход на князя Юрия Долгорукого, несмотря на аргументы, приведенные противниками этого решения.

Окончательно судьбу Изяслава Мстиславича и исход событий решают диалог с киевлянами, в котором князь спрашивает, будут ли они сражаться за него и его союзников. Жители Киева отвечают ему странной речью, в которой соединяются иллюстративные и сюжетные элементы: “Господина наю князя, не погубита нас до конца. Се ныне отци наши и братья наша и сынови наши на полку они изоимани, а друзии избъени, и оружие снято, а ныне ать не возмуть нас на полон. Поедита в свои волости, а вы ведаета, оже нам с Гюргем не ужити. Аже по сих днех кде узрим стягы ваю, ту мы готовы ваю есмы”.

Значительное место в киевской повести занимают и так называемые документальные речи (представленные сообщениями о посольствах), которые полностью отсутствуют в Суздальской летописи. Этикет посольских речей был изучен Д.С. Лихачевым. Он отмечал традицию их устной передачи, устойчивость форм и высокую культуру (Русский посольский обычай XI–XIII вв. // Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986). Эти речи не только “значительны по содержанию, существенны для понимания исторических событий”, но как и другие типы речей в рассматриваемой повести, имеют сюжетное значение, а также характеризуют героев.

Первая из посольских речей – слова Изяслава, который послушал людей, оклеветавших Ростислава, и укорял его за мнимое предательство. Этот фрагмент содержит элемент иллюстративной речи: киевский князь напомнил о событиях, происшедших ранее, о том доверии, которое он оказал сыну князя Юрия и передал наветы киевлян. При этом речь подчеркивает доверчивость Изяслава и выражает его гнев и обиду. Ответ Ростислава, переданный также через посла, раскрывает его чувства – обиду на несправедливые упреки и стремление установить истину в личном разговоре. Изяслав отказал ему и потребовал от Ростислава покинуть Киев.

Ряд посольских речей связан с поисками князей союзников для будущего похода. Так, Владимир Давидович, помня крестное целование, данное Изяславу Мстиславичу, предупреждает его о начавшемся походе, а затем дает согласие присоединиться к его войску, показывая тем самым верность данному слову. Иначе ведет себя Святослав Ольгович,

также связанный клятвой. Он не только не дает сразу ответа послам Изяслава, но и держит их у себя неделю под охраной, в изоляции. А тем временем отправляет посла к князю Юрию, чтобы узнать, действительно ли он вышел в поход, а также просит не губить его волости. Получив утвердительный ответ, Святослав отпускает послов Изяслава, ставя ему условие: “А вороти ми товара брата моего со што любо, а я с тобою буду”.

В этой речи выражена хитрость князя, якобы желающего получить имущество убитого в Киеве брата Игоря, а на самом деле стремящегося найти повод не помогать Изяславу. Но уловка Святослава не достигает цели: посол не только передает Изяславу речь князя, но и сообщает о его переговорах с князем Юрием. При этом он приводит слова князя, произнесенные в ответ на посольство Святослава: “Како хощу не в правду ити? Сыновець мой Зяслав на мя пришед волость мою повоевал и пожегл и еще и сына моего выгнал из Русьской земли и волости ему не дал и сором на мя возложил. А любо сором сложду и земли своєї мьщю, любо честь свою налезу, паки ли а голову свою сложду”. Не случайно эта речь приводится не в момент ее произнесения, а значительно позже, так как она не имеет существенного сюжетного значения, а читателю уже известно о непоколебимости решения князя Юрия о походе. Но привести ее летописцу было необходимо, чтобы подчеркнуть побуждения Юрия, обиженного Изяславом Мстиславичем и желающего восстановить свою честь.

Как мы видим, речи персонажей связаны с сюжетным развитием и ярко характеризуют действующих лиц, объясняя их поступки, часто связанные с предыдущими событиями и междукняжескими отношениями. Каждый из героев предстает перед читателем со своими характерными чертами.

Таким образом, действие в повести по Киевской летописи оказывается обусловлено поступками героев в сложных междукняжеских отношениях, которые ярко выражаются через прямую речь персонажей, во всех случаях играющих сюжетную и в большинстве – характеризующую роль.



## *Митрополит Дионисий – “премудрый граматик”*

*Я.Г. СОЛОДКИН,  
доктор исторических наук*

За три года до смерти Иван Грозный возвел игумена новгородского Спасо-Хутынского монастыря Дионисия в сан первосвященника русской церкви. Трудно судить, отчего выбор самодержца пал на настоятеля сравнительно малоизвестной обители, но Дионисия нельзя отнести к числу митрополитов, которые не осмеливались перечить царю.

В день венчания на царство Федора Ивановича (31 мая 1584 г.) на Дионисия был возложен белый клобук. Этой “древней почести” он удостоился на основании решения поместного собора двадцатилетней давности.

Через два года Дионисий выступил на стороне знатнейших князей Шуйских, которые решили добиваться развода “святоцаря” Федора с “неплодной” Ириной (родной сестрой правителя Бориса Годунова) и тем самым отстранить от власти Бориса Годунова. Озабоченные “царским чадородием”, то есть судьбой династии, участники заговора собирались обратиться с челобитной к Федору Ивановичу. “Совет” Дионисия, вельможной знати и “купецких людей” потерпел неудачу.

В октябре 1586 года митрополит был низложен и “по государевой воли прислан” обратно в Спасский монастырь “на Хутыни”. Когда умер опальный владыка, неизвестно.

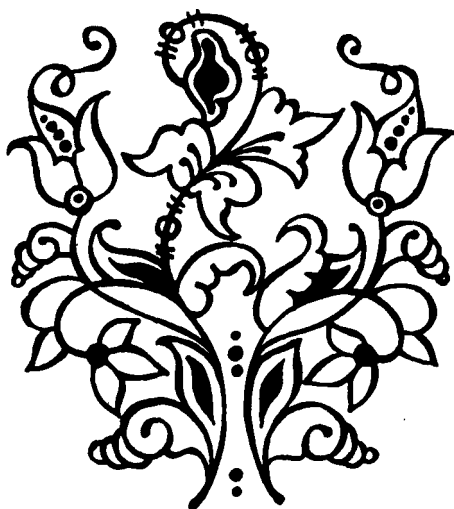
В “Хронографе” второй редакции (сочинение по всемирной истории, возникшее в 1617 г.), где наиболее подробно говорится о заговоре Шуйских, Дионисий называется “премудрым граматиком”. Н.М. Карамзин

полагал, что “сладкоречивый” митрополит, вероятно, заслужил это “имя... какими-нибудь уважаемыми сочинениями”, которые не сохранились. Но известно, что по распоряжению Дионисия в 1586 году было переписано “Мерило Праведное” – сборник памятников церковного и светского законодательства, включая “Русскую правду”. В пространном обращении к митрополиту писец Стефан витиевато молил его исправить ошибки, которые могли встретиться в рукописи (Правда Русская. М.–Л., 1940. Т. 1). Самому Дионисию, как выяснил исследователь И.А. Тихонюк, принадлежала “Следованная псалтырь” рубежа XV–XVI веков, которую первосвятитель подарил церкви Положения риз. Дионисию была отдана “с собору... при игумене Еуфимие” и псалтырь, хранившаяся в Иосифо-Волоколамском монастыре (Книжные центры Древней Руси: Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Л., 1991). Не занимался ли митрополит правкой этой книги, продолжая дело знаменитого Максима Грека?

Любопытно, что накануне низложения и ссылки Дионисия некий Андрей Алферьев (Олферьев) перевел “грамотику... из грамограпхию с полской грамоти... на славенскую”. Его современником был Евдоким (Евдокимища), сочинивший “некнижное учение грамоте”. Исследователи предполагают, что “Книга” этого грамматика по происхождению связана с митрополичьей резиденцией – Чудовым монастырем (Ягич И.В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку. СПб., 1885–1895. Т. 1).

Таким образом, допустимо считать, что Дионисий имел отношение к развитию грамматического жанра в русской книжности и правке псалтыри наряду с вероятным участием митрополита в официальном летописании. Это может объяснить появление отзыва о “премудром” святителе в “Хронографе” конца Смуты.

*Нижневартовск*



*Проблемы фольклористики  
в трудах членов  
Московского лингвистического кружка\**

Мы продолжаем издание материалов, связанных с историей Московского лингвистического кружка и предлагаем вниманию читателей текст протокола его заседания от 20 марта 1920 года, который хранится в Рукописном отделе Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (более подробно см.: Русская речь. 1999. № 6). Настоящая публикация показывает одно из важных направлений в деятельности кружковцев – изучение и соби́рание фольклора.

Следует отметить, что в 10–20-е годы XX века предприняты весьма плодотворные усилия отечественных ученых в изучении устного народного творчества. Р.О. Якобсон и П.Г. Богатырев в своем обзоре работ по славянской филологии за 1914–1920 годы указывали на непрекращающееся интенсивное соби́рание и теоретическое осмысление фольклорных материалов, в особенности в центральной России. В этой

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 98-04-06224а “Деятельность Московского лингвистического кружка по материалам его архива”.

работе активное участие принимали члены Кружка: П.Г. Богатырев, Н.Ф. Яковлев, Б.М. Соколов (Якобсон Р., Богатырев П. Славянская филология за годы войны и революции. Берлин, 1923).

На заседаниях Кружка обсуждались вопросы, касающиеся специфики русской исторической песни. На эту тему с докладом выступил Н.Ф. Яковлев, который 5 апреля 1919 года прочел доклад “Русская историческая лирика XVI–XVII веков”. Кружковцами проводились исследования, связанные с отражениями фольклорных мотивов в произведениях русских писателей XIX века. В этой связи можно упомянуть доклад П.Г. Богатырева “О Гусаре Пушкина” (1919 г.), в котором докладчик указал на сказку из сборника Д.К. Зеленина как на возможный источник этого стихотворения, а также доклад Н.Ф. Яковлева “Элементы фольклора у Лермонтова” (1921 г.), раскрывающий песенные источники отдельных его произведений.

Кружковцев интересовало отражение в фольклоре текущих событий (революция, гражданская война). На эту тему с сообщениями выступал Ю.М. Соколов (публикацию протоколов этих заседаний, состоявшихся 17 и 23 мая 1919 г., см.: Русская речь. 1999. № 6). Наблюдения над формальными особенностями заговоров содержатся в докладе П.Г. Богатырева “Опыт изучения заговоров (Повторения в заговорах)”. Ему же принадлежит разбор вышедшей в 1917 году ценной работы Н.Ф. Познанского (Заговоры, опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. Пг., 1917), который содержится в его докладе “Труд Познанского о заговорах”. В связи с тем, что члены Кружка сами участвовали в собирании фольклора, актуальными являлись вопросы, связанные с методикой фольклорных записей. 11 августа 1920 года с докладом на эту тему “Из методологии записи песен” выступил Н.Ф. Яковлев.

Заседания Кружка были весьма разнообразны не только по содержанию обсуждавшихся на них вопросов, но и по самой форме их проведения. На них приглашались исполнители народных песен, которые рассказывали о своем творчестве, отвечали на вопросы кружковцев и исполняли песни из своего репертуара. Далее мы публикуем протокол одного из таких заседаний, на которое был приглашен П.Г. Янков, крестьянин Бронницкого уезда Московской губернии, известный любитель русской народной песни, организатор признанного в Москве крестьянского хора. Исследователи фольклора, как писал Ю.М. Соколов, всегда дорожили такими людьми (в их числе он называет П.Г. Яковца и В.И. Симакова, крестьянина Кашинского уезда Тверской губернии), ибо именно они “сами представители той среды, в которой народная песня живет полной жизнью, могут дать исследователю много интересных и полезных сведений, при этом не только, так сказать, о сыром материале, но и о внутренних процессах, переживавшихся и переживаемых народною песнею” (Симаков В.И. На-

родные песни: их составители и их варианты. С предисл. Ю.М. Соколова. М., 1929).

На этом заседании Кружка были обсуждены вопросы о связях города и деревни, сказавшихся на характере песенного творчества, о роли Москвы в этом процессе, о популярности песни в разных слоях общества, о роли певцов-профессионалов, о литературной истории песни и ее переработке, об отборе песенного репертуара в разных по возрасту группах населения и ряд других.

Следует отметить, что между фольклором и письменной художественной литературой всегда существовала определенная связь. Вполне естественно, что устная поэзия городского центра находилась под влиянием книжной поэзии. Ю.М. Соколов отмечал, что источником проникновения в крестьянскую массу книжной поэзии вообще и песен на их основе в частности являлась мещанская мелкоторговая, мелкочиновничья и ремесленная среда (Соколов Ю.М. Русский фольклор. М., 1941). Литературная история песни претерпевала в разных социальных условиях значительные изменения. Попад в песенный репертуар, стихотворение или романс подвергались существенной переработке. В связи с этим песни, созданные на их основе, изобилуют различными вариантами. Изучение таких вариантов может стать свидетельством того, каким путем проникала песня в среду рабочих или крестьян. Выступавший на заседании Кружка П.Г. Янков сохранил воспоминания не только о том, кем и как исполнялись те или иные песни, но и о том, какие изменения вносились в них. На заседании Кружка речь шла и о частушках, "прибаутках", как называл их П.Г. Янков. При этом исполнитель относил их появление в Москве приблизительно к 1895 году и отмечал большое число частушек с общественно-политическим содержанием.

**Протокол заседания  
Московского Лингвистического Кружка  
20 марта 1921**

Присутствуют: П.Г. Богатырев, А.А. Буслаев, Б.В. Горнунг, И.А. Гуревич, О.А. Коган, А.И. Ромм, П.П. Свешников, Б.В. Томашевский, С.А. Усиевич, Р.О. Шор, В.И. Яковлева, Н.Ф. Яковлев, П.Г. Янков.

Председательствует – А.А. Буслаев, секретарь – Б.В. Горнунг.

Председатель, открыв заседание, предложил изменить повестку дня: 1) ввиду выяснившейся неподготовленности присутствующих к коллективному разбору "Бедность не порок", 2) ввиду приглашения Н.Ф. Яков-

влевым на сегодняшнее заседание собирателя и исполнителя народных песен Петра Глебовича Яркова. Предложенное изменение принимается и слово предоставляется Н.Ф. Яковлеву.

*Н.Ф. Яковлев* знакомит присутствующих с *Петром Глебовичем Янковым* и рассказывает о своей с ним встрече и о том, что сделано П.Г. в области собирания песенного материала. Н.Ф. предлагает установить порядок вопросов, которые должны будут сегодня обсуждаться в связи с тем материалом, который сможет дать П.Г. Такими вопросами являются прежде всего: 1) биографические сведения самого П.Г., 2) вопрос о роли Москвы и, далее, вообще городского центра в процессе песенного творчества.

*А.И. Ромм* предлагает выяснить, в чем же, собственно, заключается роль городского центра: в том ли, что город снабжает новым песенным материалом, или в том, что под городским влиянием старые песни начинают исполняться иначе.

*П.Г. Янков*, отвечая Ромму, совершенно отрицает, что какие бы то ни было изменения в песнях произошли исключительно вследствие известных городских влияний на деревню. Наоборот, роль города гораздо значительнее и сложнее. Можно сказать, что город, в частности Москва, является центром песенного творчества. Пословица “Во Гжель ездил за дудками, в Москву – за песнями” имеет свое реальное подтверждение в том, что несомненно можно сказать, что почти все песни различных областей и губерний, даже различных эпох, могут быть – при желании искать – найдены в Москве.

Далее П.Г. Янков отмечает преобладание интереса к напеву над интересом к содержанию и указывает, что факт скорого забывания вошедшей в моду песни, или факт ее сохранения в продолжение значительного промежутка времени зависит в значительной части от того, является ли напев новой песни оригинальным или нет. Забывавшиеся песни могут затем через много лет снова войти в обиход и стать модными. Так, напр[имер], песни, которые можно найти в Чулковском сборнике, т.е. записанные около 150 лет назад<sup>1</sup>, пелись в Москве и Московской губернии, как совсем новые, около 30 лет назад. Затем следует отметить постоянное присутствие в песенном репертуаре определенной местности и определенной эпохи некоторых песенных сюжетов. Так, всегда встречается какая-либо песня о ямщике, арестантские песни с определенным сюжетом.

Биографические сведения о себе П.Г. Янков дает следующие. В настоящее время ему 45 лет (т.е. родился он ок[оло] 1875 г.). С 13-ти летнего возраста он начал жить в Москве, куда его отдали в ученье. Любовь [к] песням у него развита с самого раннего детства, хотя неблагоприятные условия (гл[авным] образом, необходимость сидеть постоянно дома) мало способствовали развитию в нем этого задатка. Первыми песнями, которые он выучил, были плясовые песни, которые он вы-



учил на свадьбе своей тетки в 5-ти летнем возрасте. Впоследствии от той же тетки он выучился многим другим песням. Развитию в нем любви к песням способствовал также и дед, умерший в возрасте около 85 лет, из-за престарелости уже не бывший в состоянии сам петь, но много рассказывавший о тех или иных знаменитых песенниках. 7-ми лет П.Г. познакомился с одним исполнителем песен, занимавшимся отхожими промыслами, преимущественно в Москве. Бывая часто в гостях у этого человека, П.Г. выучился у него большому количеству песен, а также умению варьировать напевы. С этого времени и до 13-ти летнего возраста, до отъезда в Москву, песенный репертуар его не переставал разрастаться. В Москве обстановка была также благоприятная: мастера в заведении, куда попал П.Г., во время работы пели много песен, а в праздники это занимало почти весь день, причем присоединялись еще приезжавшие из деревни жены. В то время (в начале 90-х годов) в Москве еще исполнялись песни, называемые “круговыми” (“хоровод” – къравот – название более позднее).<sup>2</sup> П.Г. знает до 30-ти “круговых” песен, что является довольно редким явлением. Можно отметить исполнение “круговых” песен под Москвою, в селе Преображенском еще в конце 90-х годов (1898–99 гг.). Пели фабричные рабочие. Со стороны полиции всегда замечалось желание подавить в народе стремление к песенному творчеству, духовенство же, пользуясь этим, убеждало, почти заставляло петь церковные песни. П.Г. указывает, что сам он церковного пения не любит. В том месте, где он находился в ученье (в столорном заведении на Пименовской улице), состав мастеровых был смешанный, были люди из разных губерний, но пелись более или менее одни и те же песни. Тем не менее П.Г. до сих пор помнит, кем исполнялись в особенности те или другие песни, кем вносились те или другие новые и в своих записях отмечал губернии, из которых, как можно на основании сказанного предполагать, идет та или иная песня. Это относится к самому концу 80-х годов. Далее идут 90-е годы: песни продолжали петься как в мастерских, так и по дворам (вечером после работы). К этому времени относится появление следующих песен (указаны в хронологическом порядке): “Зачем ты, безумная, губишь?”<sup>3</sup>, “Потеряла я колечко” (которая в настоящее время имеет совершенно иной напев), “Чудный месяц плывет над рекою”<sup>4</sup>, “Коробейники”<sup>5</sup>. “Коробейники” распространялись чрезвычайно медленно и широкое распространение получили только после 1900 года; напев их несколько раз изменялся, хотя вариации его не были значительными. Здесь следует отметить, что при появлении новых песен исполнителями практиковалась контаминация мелодий: у одной песни брали зачин, у другой заключение; такая контаминация практиковалась и самим Петром Глебовичем.

Далее надо указать, что появлявшиеся песни распространялись неодинаково в том смысле, что одни песни имели успех только у молоде-

жи, старики их не принимали, другие – как раз наоборот. Песня “Потеряла я колечко”<sup>6</sup> имела большую популярность: ее выучили и все старики-песенники. Иногда появлялась песня, которая была в моде лет 20–30 назад и которую старики еще не забыли, хотя ими она уже пелась, и песня прививается вновь. Так было с песней “Снеги белые пушистые”<sup>7</sup>. И в настоящее время многие песни, по выражению Петра Глебовича, “лежат в старом поколеньи”. Эти песни сейчас иногда вновь входят в обиход; причины их вторичного появления могут быть следующие: девицы сейчас поют только “прибаутки” (“прибаутками” П.Г. называет частушки) и лишь некоторые песни, но только модные. (Но надо сказать, что знать песен они знают гораздо больше, слыша очень много их на свадьбах, которые являются “лучшей песенной школой”: здесь молодые выучиваются незнакомым песням от старших поколений; на свадьбах же вспоминаются старые забытые песни, которые, благодаря этому, снова могут войти в обиход.) Выходя же замуж, девицы перестают петь исключительно модные песни, начинают петь и те песни, которые знали и раньше, но петь считали неудобным. В последние времена в деревнях, напр[имер] Бронницкого уезда, стали возобновляться старые “круговые” песни, чему старики сильно способствуют. П.Г. рассказывает, что сам он выступил “на гулянье” в деревне 18-ти лет, когда у него был уже очень большой запас песен, собранный по преимуществу в Москве. Весь этот материал он привез с собою из Москвы в деревню, и некоторая часть этого материала оказалась для деревни совершенно новой, незнакомой. Среди товарищей его были уроженцы Подольского уезда; полученные от них песни он привозил в Бр[онницкий] уезд и многие там прививались. Далее П.Г. указывает о распространенных в его местности песнях с действом.

*И.А. Гуревич* замечает, что совершенно аналогичные песни (лишь с некоторыми отличиями в действе) слышал в дер[евне] Зарубино Старицкого уезда Тверской губернии.

*Н.Ф. Яковлев* спрашивает, кто в наст[оящее] время поет больше песен, женщины или мужчины.

*П.Г. Ярков* отвечает, что так как большее количество хороших голосов встречается среди девиц, то и поют они больше.

*П.Г. Богатырев* спрашивает, каково мнение П.Г. о влиянии песенников, а также влиянии лубочных картинок с текстом.

*П.Г. Ярков* отвечает, что песенники имели громадное влияние, но объяснить это надо тем, что по своему составу они обыкновенно очень отвечали настроению. Вообще влияние книги было довольно значительно; так, он сам в молодости пел много нравившихся ему Суриковских стихов. Что касается влияния песенников на репертуар, то надо отметить, что из песенников редко брались те песни, напев которых не был известен<sup>8</sup>.

П.Г. Богатырев спрашивает о распространении частушек, или, по терминологии П.Г., “прибауток”<sup>9</sup>.

П.Г. Ярков указывает на большое их распространение в последнее время, причем современные тенденциозные частушки с общественно-политическим содержанием почти всегда переделываются, часто получая совершенно обратный смысл. Характерных напевов частушек по определению П.Г. – 7 (с вариантами это число м[ожет] б[ыть] увеличено до 9–10-и).

П.Г. Богатырев спрашивает о времени первого появления частушек (прибауток).

П.Г. Ярков первое появление прибауток в Москве относит приблизительно к 1895 году, наиболее старые прибаутки им почти все записаны. Относительно появления “прибаутки” или “частушки” след[ует] указать, что за последнее время прививается и последнее, но идет оно из книги.

Затем Петр Глеб[ович] исполняет большинство из упомянутых им песен, а также песен из собранных им многочисленных записей, давая в отношении некоторых песен комментариев об их возникновении, генезиса их напева и т.п., и после этого заседание закрывается, причем высказывается пожелание, чтобы П.Г. еще раз поделился с Кружком своими материалами, на что последний дает свое согласие.

Председатель М. Петерсон

Уч. секретарь Б. Горнунг

Члены: Буслаев, Ромм, Кенигсберг, Яковлев, Богатырев (подписи)

### Примечания:

<sup>1</sup> Одним из наиболее известных и имеющих большое значение для истории русской песни является сборник Михаила Дмитриевича Чулкова “Собрание разных песен”, части I–IV с прибавлением (1770–1774). М.Д. Чулков, сын придворного истопника, получивший университетское образование, собрал и издал в своей книге как русские народные песни, бытовавшие в крестьянской и солдатской среде, так и литературные, известные по уже существовавшим песенникам. Ю.М. Соколов отмечал, что “Чулковский песенник имеет огромное значение для истории русской песенной лирики, так как дает богатейший материал для сопоставлений с современным песенным репертуаром и для выводов об эволюции песенных текстов в течение более чем 150 лет” (Соколов Ю.М. Русский фольклор. М., 1941).

<sup>2</sup> В Словаре В.И. Даля находим следующее определение: *круговая песня* – хоровая, хороводная, игровая (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. II).

<sup>3</sup> Автор песни – поэт-”суриковец” М.И. Ожегов.

<sup>4</sup> Автор песни – М.И. Ожегов.

<sup>5</sup> Автор песни – Н.А. Некрасов.

<sup>6</sup> Автор песни – М.И. Ожегов.

<sup>7</sup> Является переработкой песни Панова.

<sup>8</sup> Ю.М. Соколов отмечал, что литературный оригинал песни иногда бывает очень трудно установить вследствие того, что, “попав в устный фольклорный репертуар, стихотворение или романс становятся песней со всеми присущими последней свойствами” (Соколов Ю.М. Указ. соч.). Установление литературного источника народных песен является одним из важных вопросов фольклористики. В народную песню проникали как отдельные произведения дворянской литературы, так и произведения, созданные в городской мещанской среде, особенно романсы, куплеты, военные песни. Через песенники исполнители песен приближались к книжной поэзии. О взаимоотношении народной песни и книжной лирики см. также работу И.Н. Розанова “От книги в фольклор. Какие стихи становятся популярной песней” (Литературный критик. 1935. № 4).

<sup>9</sup> Частушки – один из наиболее распространенных жанров песенной поэзии с конца XIX века. Это короткие, большей частью четырехстишные рифмованные песенки. Ученые отмечают, что они являются специфической чертой русского фольклора.

*Публикация текста,  
вступительная статья и примечания  
кандидата филологических наук Г.С. Баранковой*



## Сказочно-мифологические мотивы “Островитян” Н.С. Лескова

*В.В. САВЕЛЬЕВА,  
кандидат филологических наук*

Повесть Лескова “Островитяне” (1866) особенным образом соединила повествование о жизни обрусевшей немецкой семьи с Васильевского острова и вечную сказочно-мифологическую историю трёх сестёр. При этом сказка и миф для Лескова оказываются как созвучными современности, так и откровенно противопоставленными ей, ибо жизнь отдельного человека никогда не вберет в себя всю полноту несчастья и счастья сказочного сюжета, а те в силу своей всеобщности, универсальности не могут обрасти неожиданными подробностями и деталями живой действительности.

Появлению главной героини предшествует пролог – рассказ об уличной артистке, девочке на ходулях, которая выступает на грязном мощёном дворе перед чёрной аркой петербургского дома, осенью, в дождливый и ветренный день, когда в “Петербурге ждали наводнения” (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 3. С. 5; далее – только стр.). Рассказчик называет эту девочку “богиней”, её трагический бледный профиль напоминает ему длинный профиль Рашели, “когда эта пламенная еврейка одевалась в костюм Федры” (6). Трагическую плясунью на ходулях автор соотносит со своей героиней, другой девочкой с Васильевского острова, которую он называет “незлобным земным ангелом” (8) “с поэтической головкой Титании” (9), мелькающей в тени тёмных деревьев сказочного леса Оберона (Титания – царица эльфов, а Оберон – царь эльфов в пьесе В. Шекспира “Сон в летнюю ночь”). Этой сюжетной заставкой-увертюрой озвучены основные темы и мотивы повести – петербургский миф, сказочно-мифологические мотивы, трагические событийные коллизии.

Уже в первой главе рассказчик вводит нас в семью Норков, петербургских василеостровских немцев, состоящую на момент знакомства из пяти женщин: бабушки, матери-вдовы Софьи Карловны и трёх дочерей, из которых старшая Берта уже замужем. Сказочный архетип,

лежащий в основе сюжета, раскрывается самим рассказчиком: «В народных сказках наших часто сказывается, что из трех детей, рожденных от одних и тех же родителей, третий, самый младший, задаётся либо всех умнее, либо всех сильнее, либо всех счастливее и удачливей. Ходя по русской земле, зашла эта сказка и в семью покойного русского немца Иогана Норка. Маня была дитя совершенно, как говорят, “особенное”, какое-то совсем необыкновенное» (12). При этом в отличие от таких литературных сказок, как “Сказка о царе Салтане...” или “Аленький цветочек”, Лесков не противопоставляет двух сестер третьей и тем более не показывает вражду или малейшую зависть старших к младшей. Наоборот, она любима всеми безмерно. Подчёркивая исключительность Марии Норк, рассказчик говорит о её впечатлительности, хрупкости, слабом здоровье, странных переменах в характере после девяти лет, когда от неё ушло веселье и беспечность (мотивы религиозной избранности, а также литературные параллели с пушкинской Татьяной Лариной и тургеневской Лизой Калитиной).

Существенно важен для понимания не только кровных, но каких-то более глубинных связей между персонажами повести мифологический образ семейного древа, древа жизни и древа рода (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1995. Т. 2. С. 144–179). У Лескова этот образ приобретает художественные черты: “У старушки Норк оставалось довольно ума и очень много сердца для того, чтобы любить каждый листочек дерева, выросшего из её праматеринского лона, и между всеми этими веточками и листочками самым любимым листком старушки была опять-таки та же младшая внучка, Маничка Норк” (23).

Внешним поворотным сюжетным событием повести оказывается празднование совершеннолетия Мани. В повести вычлняются почти все классические этапы мифологического архетипа инициации (Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1991. Т. 1. С. 543–544). Во-первых, в этот день Маню впервые приветствуют “не как ребёнка, а как женщину” (39), и этим самым подчеркивается, что она совершает переход за пределы устоявшегося детского мира в другой, взрослый мир. Во-вторых, совершеннолетие сопровождается определенным ритуалом – и рассказчик Лескова описывает все торжественные приготовления “в этот святой для целого семейства день” (38): уборка помещений, смена одежды, разговоры, подарки, речи-напутствия, слезы и радость, угощения и танцы. В-третьих, попадая во взрослый мир, героиня сразу оказывается перед лицом испытаний, которые ей необходимо преодолеть, чтобы утвердиться в новом статусе.

К традиционным препятствиям относятся такие, как искушение, любовь, похищение, болезнь, странствия, мнимая смерть и возвращение к жизни. Свою героиню Лесков проводит через все эти испытания. Именно на дне рождения Мани рассказчик обращает внимание на пе-

ремены в отношениях героини и художника Истомина, образ которого начинает соотноситься со змеем-соблазнителем и обрастает в повести негативными ассоциациями. Берта говорит о поцелуе Истомина: “Как удав, так и впивается” (76). Этот образ Истомина-удава, поцеловавшего при прощании Мани в ладонь, никак не выходит из памяти рассказчика: “Ну, думаю себе, удав, удав! И сел этот удав в моём воображении около Мани, и пошёл он обвиваться около неё крепкими кольцами, пошел смотреть ей в очи и сосать ее беленькую ладонь” (77). Образ удава сближается как со сказочным змеем-похитителем, так и с мифологическим змеем-соблазнителем. Вторая параллель оказывается важнее.

После первого “насилъственного” поцелуя Истомин уверился в своём успехе: “Самодовольный, как дьявол, только что заманивший странника с торной дороги в пучину, под мельничные колёса, художник стоял, небрежно опершись руками о притолки в дверях...” (94). А “на левой щечке у Мани пылало яркое пунцовое пятно: это здесь к ее лицу прикасались жадные уста удава” (95). В тринадцатой главе любовь достигнет своего апогея: сквозь сон и бред болезни рассказчик будет слышать разговор между Истоминым и Маней, пришедшей на тайное свидание. Маня говорит о том, как она любит “вот эти демонские кудри” (108), о своём сердце, о том, что “он страшен”, что ей больно (110), а Истомин будет требовать от неё жертвы и речь его напоминает речь одержимого: “Ты думаешь, я человек? Нет; я не человек: в меня с твоим вчерашним поцелуем вошёл нечистый дух, глухой ко всем страданиям и слезам... беги... Он жертвы, жертвы просит!”; “– О дьявол! тебе такого чистого ягненка ещё никто не приносил на жертву!”; “Я погублю тебя!” (112–113).

Всё это свидание композиционно построено Лесковым так, что страстные диалоги влюблённых монтажно прерываются картинами бредовых сновидений слушателя-рассказчика, который видит Петербург в образе чудовища (“шевелилось передо мною какое-то огромное, ослизшее, холодное чудовище, с мириадами газовых глаз на черном шевелящемся теле, по которому ползли, скакали, прыгали и спотыкались куда-то вечно спешащие люди...” (108); или ему снится долина, “сухая, серая, пыльная, без зелени, совсем без признака жизни; ветер гнал в неё тучи песчаной пыли, свивал их столбом облачным и шибко поднимал вихрем к небу” (110), наконец, над ним склоняется “огромный, бурый с проседью медведь” (111), который его лижет и давит своим жаром.

Эти сны – своеобразный мифологический комментарий к тому происходящему за тонкой перегородкой обряду посвящения девушки в женщину и одновременно обряду жертвоприношения невинного существа миру порочному. Есть в этих видениях и явное пророчество: в самой середине бесовского крутящегося серого столба вихря большой ви-

дит “серую, из пыли скатанную человеческую фигуру”, которая “долго вертелась валуном и, наконец, рассыпалась, и когда она рассыпалась, я увидал, что это была бабушка Норк” (110). Так случится, что тайная беременность младшей внучки, этого “любимого листочка”, так потрясёт бабушку, что она, годами прикованная к креслу, встанет, пойдёт проклянёт Маню и умрёт в Маниной комнате (125), и в эту же ночь у брошенной любовником внучки родится мёртвый ребёнок.

Основное место в сюжетном повествовании занимает вторая ступень инициации, когда героиня оказывается в пограничной ситуации: расставшись с прежним статусом, Мария Норк не может обрести устойчивое равновесие во взрослом мире, и более того, она порождает катастрофические события, потрясающие семейное древо Норков. Смерть бабушки, потеря речи у матери, дуэльный вызов Шульца и грозный визит Иды к Истомину с требованием отказаться от дуэли с мужем старшей сестры и немедленно уехать – вот некоторые испытания, выпавшие на долю близких Мани. Тяжелое физическое и психическое состояние героини с точки зрения архетипа воспринимается как временная или ритуальная смерть, дающая возможность перерождения. Последней реальной и в определенной мере *искупительной жертвой* периода испытаний оказывается трагическая смерть подмастерья Вермана, который, по выражению рассказчика, “сам себя не отделял от семейства Норков” (26). Он утонул, переплывая белой ночью Неву, а свидетели-рыбаки приняли добрейшего Вермана, имеющего внешность дикаря с чёрными с проседью волосами, за “дьявола”, который, “чтобы увеличить соблазн, начал кричать человеческим голосом и звать себе на помощь” (171).

Эта переживаемая всеми трагедия несколько задержала переезд семьи старшей сестры в новый дом и последующее присоединение к ним Иды и матери. Расставание со старым местом эмблематично: с этого начинается период восстановления гармонии в семье Норков, где уже подрастает новое поколение, а Ида заменяет детям и взрослым тихо и благообразно ушедшую из жизни бабушку. Возвращение и “реинкарнация в новом статусе” (Мифы народов мира. Т. 1. С. 544) – последняя, третья ступень инициации младшей сестры – остаётся за пределами повествования.

Лесков скупно рассказывает, как тайно от всех устраивает Шулец брак свояченицы с немецким фабрикантом Бером (а Маня соглашается и повторяет фразу пушкинской Татьяны: “все были жребии равны” – 146). Писателя занимает только один кульминационный эпизод жизни своей героини в Германии – её последнее столкновение с Истоминым; и хотя она, узнав его, теряет сознание, чары Истомина уже не властны над ней. Далее следует сложное, откровенное объяснение с мужем, который предлагает ей помощь и свободу; “лунный обряд”, который духовно свяжет два одиноких сердца; прощание героини с му-



жем и Истоминым (уже не соперником) и отъезд Марии на пароходе в странствие, которое, по мнению Бера (“чтобы соблюсти душу твою, я должен потерять её для себя...” – 160), должно вернуть ей радость жизни. Так продолжается жизненная одиссея Марии. Последняя весть, приходящая в Россию, – это заметка о разборе детской книги путешествий Марии Норк – позволяет признать факт совершившегося преображения героини и её существования в новом статусе.

Два сказочных сюжета влетает Лесков в ткань произведения: сказку о русалочке (Г.Х. Андерсена) и о Рауле Синей Бороде (Ш. Перро). В середине повести рассказчик говорит Иде о перевезде сказок Андерсена на русский язык (в комментарии на стр. 593 указывается, что полное собрание сказок Андерсена вышло в России в конце 1863 года), но раньше, в день совершеннолетия Мани Истомин дарит ей этюд, изображающий “молодую русалку, в первый раз всплывшую над водой” (41): “Любопытство, ужас, восторг и болезненная тревога” отразились на лице Мани (42). Истомин говорит о мифе, по которому русалка не может до совершеннолетия всплыть над водой, подробно описывает ее жизнь на глубине, любопытство и ожидание положенного срока. Детали рассказа Истомина мгновенно вызывают в памяти “Русалочку” Андерсена (сказку о младшей дочери морского царя), но название “речного дна” вместо морского, упоминание о покинутой матери, наконец, цитаты определяют и второй источник – славянский миф, воплотившийся в “Русалке” Пушкина. Поразило всех “странное, наводящее ужас сходство” русалки на этюде с Маней. Истомин признаётся, что втайне от всех писал именно с неё головку мифологического существа.

Испытания, выпадающие на долю русалок, перекликаются с судьбой земной девушки, и в этом смысле подаренный этюд – невольное пророчество или продуманный соблазн искусителя Истомина. Русалочка-принцесса Андерсена в день совершеннолетия влюбляется в принца и терпит ради него страшные мучения, “готова отдать за него жизнь”, а героиня Лескова говорит Истому: “Как хочется мне быть для тебя несчастной... такой несчастной, чтобы моё несчастье испугало бы всех... а чтобы ты... О, чтобы ты был счастлив! счастлив!... и чтобы это счастье я тебе купила! Но... я не знаю... а ты не говоришь, что сделать для тебя. Как мне погибнуть? как?” (109). Русалочка жертвует своей жизнью ради счастья принца и превращается в морскую пену: “Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной” (Андерсен Г.Х. Сказки и истории. Л., 1969. Т. 1. С. 113). Видимо, не случайно рассказчик Лескова сравнивает Маню, одетую в день совершеннолетия во всё белое, с морской пеной: “фигура Мани, беленькая и легонькая, как морская пена” (38); “девушка, заколывавшись как кусок белой пены, вышла навстречу нам...” (39). Истомин, как и принц, не

полюбил Маню всей душой, а чуть не погубил её. Как пушкинская русалка, она, брошенная, ждёт ребёнка. Но русалочке в сказке только на миг дано стать “мертвенно-холодной” морской пеной, а потом она поднимается к дочерям воздуха (вспомним, что уже в начале повести Манию сравнили с царицей эльфов). Так и героине Лескова даровано возрождение.

Интересно и другое. Многие фрагменты текста позволяют судить, что воздух и вода – две стихии, которые сопровождают образ Марии Норк. Знакомство рассказчика со своей героиней происходит в сильный ливень, когда он предлагает помощь двум промокшим и продрогшим девочкам-подросткам. Воздушное начало ее образа вводится через сопоставление с грациозной девочкой на ходулях и Титанией, через описание её небольшого роста и хрупкости (“как китайская тень” – 75). В танце она, “как перышко”, “мелькает” возле кавалера. Мать называет свою младшую дочь: “рыбка моя тихая”, “молчаливица” (95; русалочку в сказке Андерсена тоже часто называют *тихой* и *задумчивой*), “Немүша моя! рыбка немая! что ты всё молчишь, а! Когда же ты у нас заговоришь-то?” (99; принц в сказке называет русалочку “немой найдёныш”, “немая крошка”). Здесь образ Мани прямо соотносится с образом безголовой русалочки. Её голос часто слаб: “Маня только пискнула” (93), “маленький голос”, “слабый голосок” (108). А вот описание её тела: “она только прозрачнела, слегка желтела, как топаз” (118); “её тоненькие плечики и вся её хрустальная фигурка дрожала и билась о спинку кресла” (122); “маленькие, слабые ножки”, “маленькие прозрачные ручки” (8). В эту же Истомина русалочка оглушена переходом из водной среды в воздушную: “надводный воздух остро режет её непривычное тело, и в груди ей больно от этого воздуха, а между тем всё, что перед нею открылось, поражает её” (42). Подобно русалочке, Мария должна преодолеть сопротивление и искушения мира и обрести голос и свободное дыхание, но оставшееся родство с водной стихией подчёркивается в финальной сцене прощания с мужем, который говорит: “Перед тобою раскроется широкий океан чудес, и как ласточка глотает на лету муху, проглотит он твою кручину” (164).

Упоминание Рауля Синяя Борода встречается в двадцать первой главе повести и сопровождает рассказ о муже Марии, внешность которого, по словам очевидцев, столь же отталкивающая и даже более того: “Он такой, как этот чёрт, который нарисован в Кёльне. (...) он маленький, голова огромная, но волосы все вверх” (152). В заснеженном немецком городке ожидается рождественский вечер, на который приглашены все, и среди прочих обещал быть и фабрикант Бер со своей русской женой, которую он никому не показывает. Об этом Бере и его жилище (“нора Бера”) с двумя круглыми “красными башнями” и пятёркой “высоких готических окон” ходят странные слухи. Его хозяин богат, но нелюдим, его лошади “сильные, крепкие как львы” (150), а пре-

данный пёс похож на Цербера (“страшный пёс напоминает Цербера: когда он встаёт, луна бросает на него тень так странно, что у него вдруг являются три головы: одна смотрит на поле, (...) другая на лошадей, а третья – на тех, кто на неё смотрит” (151)). Весь этот готический и сказочно-мифологический контекст позволяет представить Маню пленницей, а её мужа – злодеем, что не подтверждается последующими событиями. Читателю будет рассказана новая сказка – сказка о благородном, безобразном муже, который отпускает свою жену и перед разлукой благословляет её. Действительным антигероем оказывается Истомин.

Две мифологические параллели сопровождают образ Истомина в сюжетной развязке. Он сам упоминает первоубийцу Каина, отказываясь от предложенного ему пристанища в доме Бера (“Каину угла-то ничего не нужно” – 169), а чуть раньше вздрагивает, услышав крик журавлей, и называет их “Ивиковы журавли” (“Ага! летят уж Ивиковы журавли... да, да, пора конец положить” – 169). Повествователь своим комментарием усиливает эту параллель между убийцами в легенде, воссозданной в балладе Ф. Шиллера, переведённой В. Жуковским, и Истоминим, который вершит над собой самосуд. “Этот крик имеет в себе что-то божественное и угнетающее. У кого есть сердечная рана, тот не выносит этого крика, он её разбередит. Убийцы Ивика, закопанного в лесу, вздрогнули при этих звуках и сами назвали дела свои” (169). Отмеченный знаком Каина, Истомин провожает взглядом журавлей и идёт искать “свою могилу”. Сбывается то, что когда-то предрекла ему Ида: “Мы вас простили, но за вами, как Авелева тень за Каином, пойдёт повсюду тень моей сестры” (142).

В повести “Островитяне” мать трех сестёр Норк носит имя Софьи – символизирующее женское начало, мудрость, материнские связи с тремя дочерьми Верой, Надеждой и Любовью. Три сестры Берта, Ида, Мария тоже воплощают в себе вариант триадной мифологемы. С точки зрения этимологии, Берта – “блеск, великолепие”, Ида – “название горы, на которой, согласно преданиям, обитали боги”, Мария – “возвышенная, госпожа или упорная, горькая; возможно, любимая, желанная” (Тихонов А.Н., Бояринова Л.З., Рыжкова А.Г. Словарь русских личных имен. М., 1995. С. 425, 510, 557). Берту называют “красавицей”, “прекрасной королевой”, она плывёт “хорошей лебедью”; “верная жена, страстно нежная мать и бесценная хозяйка”, но это обыкновенная земная женщина. Младшая сестра, как это постоянно подчёркивается, существо совершенно необыкновенное: полный антипод старшей сестры; вся живёт в мире вымышленном, книжном, чужда покоя и стабильности. Ида, средняя сестра, “была иной человек, чем её сестра Берта Шульц, и совсем иной, чем сестра её Маня” (24). Ида является как бы посредником между этими двумя мирами: она не принадлежит ни к миру реальному (миру Берты), ни к миру необычно-

му, миру страстей (миру Мани). Но она необходимое связующее звено между ними. Этот сложный образ окутан тайной, и, может быть, поэтому Лесков окружает его универсальными, “вечными” образами, прежде всего мифологическими.

Внешность Иды дана в двух проекциях: сначала со спины, потом с лица. “...Глядя сзади на её роскошные плечи, гибкую талию и грациозную шейку, на которой была грациозно поставлена пропорциональная головка, обременённая густейшими русыми волосами, можно было держать пари, что перед вами женщина, не раз заставлявшая усиленно биться не одно мужское сердце...” (24). Но красивое лицо Иды с открытым, благородным лбом отталкивает своим “ледяным спокойствием”; «оно не говорило: “оставь надежду навсегда”, но говорило: “прошу на благородную дистанцию!”» (24). Дантовская фраза, попавшая в повесть из третьей главы “Евгения Онегина” (“Я знал красавиц недоступных...”) и переадресованная Иде, тут же смягчается автором-рассказчиком, когда он говорит о живости Иды. Среди этих рассуждений вдруг всплывает имя Дианы, с которой Ида прямо не сравнивается, но эта богиня определённо ассоциируется с героиней Лескова. Диана (Артемида) – богиня-девственница, богиня растительности, родов вспомогательница. Она почиталась как хозяйка леса, богиня-мать, подательница растительного и животного плодородия (Мифологический словарь. М., 1991. С. 187–188, 60–61). Диану также называли “богиней трех дорог“, что означало тройную власть: на земле, на небе и под землей. Это говорит об абсолютной всесильности и бессмертии. В повести приводится шуточный обмен репликами по поводу того, что кукушка Иде куковала дольше всех и не могла остановиться. Неожиданно Ида говорит: “Я бессмертная (...) Все умрут, мамочка, на Острове, все, все, все; а я все буду жить здесь. (...) А потому, что без меня, мама, здесь ничему быть нельзя” (115–116). События повести подтверждают серьезность этой фразы.

В одном из разговоров Истомин предполагает, что идеалом женщины для Иды является Антигона (97). Ида это тут же отрицает и называет свой идеал – мать Самуила, так как “она воспитала такого сына, который был и людям мил и Богу любезен” (100). И всё же Антигона появляется не случайно. Эта мифологическая героиня известна тем, что кровное родство было для неё священным. Она сопровождала своего слепого отца в его скитаниях, делила с ним его беды до самой смерти; несмотря на запрет, совершила обряд погребения над своим братом Полиником, за что приняла страшную смерть. Родственные узы для Антигоны важнее всего на свете – то же самое можно сказать и об Иде. Но и мать Самуила она упоминает осмысленно. Во-первых, преподав тем самым урок Истомину, матери которого она не может простить горя, причиненного её сыном Мане. Позже, расставаясь, она скажет: “У вас была худая мать, Истомин (...) она дурно вас воспитала...” (139),

“молитесь лучше, чтобы вашей матери прощен был тяжкий грех...” (143), “Пускай ее за это Господь простит, но я... я, женщина, и я скорее вас прошу, а ей ... хотела бы простить, да не могу: столько добра нет в моем сердце” (142). Во-вторых, библейская женщина Анна была верна долгу и слову: она воспитала сына, но, когда подошел срок, она исполнила обет и посвятила Самуила Богу... Казалось бы, в судьбе Иды нет ничего общего с судьбой матери пророка Самуила, но для Лескова важна не судьба, а духовная сила, незыблемые устои и нравственные нормы.

Наконец, в повесть введена умозрительная параллель, связующая духовную жизнь Иды и славянского богатыря Святогора: “Так Святогор, народный богатырь нашего эпоса, спит в железном гробе; накипают на его гробе закрытом всё новые обручи: душит-бьет Святогора его богатырский дух; хочет витязь кому б силу сдать, не берёт никто; и все крепче спирается могучий дух, и всё тяжче он томит витязя, а железный гроб всё качается” (180). В.Ю. Троицкий в книге “Лесков-художник” (М., 1974. С. 68) отмечает, что своих любимых героев писатель часто сравнивает с русскими богатырями; и, действительно, рассказчик удивляется самообладанию и “богатырским силам” (120) Иды Ивановны. Святогор – былинный богатырь, обладающий титанической силой, с которой он не в состоянии ни совладать, ни найти ей достойное применение. Его имя происходит от названия местности, где он живёт – Святая Гора (Мифологический словарь. С. 491–492). Вспомним, что имя Ида тоже означает *святую гору*, и ее жизнь – это прежде всего умение нести духовную ношу семейных событий. Своей же жизни у Иды нет или на неё наложены некие тайные оковы.

В последней главе Ида читает библейские страницы из “Книги Судей Израилевых” о Деворе-пророчице, которая спасла свой народ от тяжкого ига (188). Лесков вводит обширные фрагменты из четвертой и пятой глав “Книги Судей”, чтобы читатель тоже пережил те древние события, в которых честь победы принадлежала женщине. И не случайно автор обрывает библейскую цитату на словах Деворы: “Не было вождей у Израиля, ни одного не было, пока не восстала я, Девора, пока не восстала я, мать народа моего” (188). Ида, оберегающая семью Норков, тоже выполняет священную миссию матери. У неё нет своих детей, но слово “мать” очень часто звучит в её устах как-то особенно, величественно. Напомним, что именно её видела в своём сне молодая Софья Карловна. Удивляясь, рассказывает она Истомину: “...девять месяцев кряду, каждую ночь, каждую ночь мне всё снилось, что меня какой-то маленький ребёнок грудью кормит. И что же бы вы думали? родила я Идочку, как раз вот, решительно как две капли воды то самое дитя, что меня кормило...” (98). В конце повести ослабевшая старушка-мать называет свою дочь матерью и говорит ей: “Я всё, бывало, видела во сне, как тебя носила, что ты меня кормишь...” (185). В эпилоге

любящие Иду племянники сразу обращают внимание на сходство ушедшей бабушки и тети, когда она “шутя завила себе в первый раз локоны и вышла так к чаю”. “– Я так теперь и останусь бабушкой, – отвечала весело Ида. И она так и осталась с прекрасными локонами, которые ещё не скоро поседеют, чтобы довести сходство Иды с матерью до неразделимого подобия” (191).

За образом Иды в повести Лескова вырастает архетип праматери, матери-земли и матери-природы, воспитывающей и оберегающей, а потому бессмертной. Не случайно и то, что именно она часто оказывается собеседницей повествователя, именно она сообщает ему о всех перипетиях в жизни семьи, а он говорит о её священной роли духовной наставницы в воспитании детей старшей сестры на последней странице повести (“Ида своим незримым рукоположением низводит наследственную благодать духа на детей василеостровского Шульца” – 192).

Мифологическое присутствие в повести Лескова создаётся и за счёт ситуативных сравнений (вымокшего рассказчика с Ясоном – 15) или плачущей Иды с несчастной красавицей Сарой, которая “семь раз всходила на брачное ложе и видела всех семерых мужей своих умершими и оставившими ее девой” (184); как бы спорадических упоминаний тех или иных вечных образов (так, Истомин называет имена Ниобеи, Эвридики, Медеи, Афродиты – 93); Маня видит двух борющихся братьев-ангелов: “один с кудрями светлыми и легкими, как горный лён, другой – с лицом, напоминающим египетских красавиц” (163); за счёт культурологических параллелей (об Одене северной саги – 192), о вере древних евреев в то, что небо запирается на ночь (187), о последних днях самоубийц (166); и прямых цитат, начиная с эпиграфа из “Идиллии” древнегреческого поэта Феокрита. Наконец, вся сказочно-мифологическая аура повести расцвечена протуберанцами петербургского апокалипсического мифа с мотивами ветра, дождя (“был вскоре за этим новый человеконенавистный петербургский день с семью различными погодками, из которых самая лучшая в одно и то же время мочила и промораживала” – 110), наводнения и катастрофы, грозящих островной идиллии.

*Алма-Ата*



## Положить душу свою за други своя

Л. П. ДЯДЕЧКО,

кандидат филологических наук

Вынесенный в заголовок фразеологизм высокого нравственного содержания, широко распространенный в художественной и публицистической литературе, имеет многовековую историю. Однако в указанном виде он не включен ни в один из существующих словарей русского языка. В то же время он не обойден вниманием лексикографов. Скорее, наоборот, его можно отнести к числу редких исключений: начальная часть оборота была зарегистрирована еще в конце XVIII века, то есть задолго до рождения фразеологии как особой лингвистической дисциплины.

Так, П. Алексеев во втором издании “Церковного словаря” писал о словосочетании *душу положить*: “не что иное как умереть. Видно у Иоан[на]: в гл.: 10. 18” и привел текст из Остромирова Евангелия (1056–57), древнейшего датированного памятника старославянской письменности русской редакции – “Область имам положити ю[душу] область имам паки принять ю”. Сличение формы фразеологизма в словарной статье и источнике позволяет отметить его вариантность. Этот отрывок наглядно демонстрирует самодостаточность двухсловной структуры оборота, по-видимому, и являющейся исходной.

В обычном употреблении фразеологизм *душу положить* чаще получает распространение *за кого* и обычно включает третий компонент – *свою*. Именно в таком виде он предстает в иных фрагментах Библии (срав. Остромирово Евангелие. Иоанн. 10, 17: “Сего ради мя отец любить яко аз полагаю душу мою да паки приима ю”), в подтверждающих примерах “Словаря Академии Российской” (точнее было бы – *за кого, что*; срав. приведенный пример в комментирующей части: “Я рад душу свою положить за честь вашу”), в средневековых письменных памятниках: “А толко б где возможно государю нашему христианству помочи, и государь бы наш за них и душу свою положил” (документ 1558 г. о дипломатических сношениях Московского государства с Польско-Литовским), – в которых фиксируется также ныне устаревшая форма с дополнением *по кому*: “Душу свою... по братии поло-

жити” (Уложение периода царствования Алексея Михайловича, 1649 г.). Наличие вариантов, как правило, свидетельствует о длительности и широте употребления оборота.

Значение оборота *душу положить/положить душу (за кого, что)*, определяемое в первом академическом словаре как “умереть, претерпеть смерть за кого из любви, из приверженности к кому”, и в “Словаре церковнославянского и русского языка, составленного II отделением...” – “пожертвовать своею жизнью для спасения другого”, иллюстрируется фрагментом из Остромирова Евангелия (Иоанн. 15, 13): “Больша сею любъве ник тоже не имать дак то душу свою положить за други своя”. Для составителей обоих словарей этот пример всего лишь реальное воплощение толкуемого выражения в речи.

Но для этимологов наших дней приведенный отрывок представляет огромную ценность. Он стал источником исследуемого фразеологизма, известным каждому и не утрачивающим своей значимости в духовной жизни народа на протяжении нескольких веков, так как версия “остромировского” перевода новозаветной фразы поддерживалась первой печатной Библией (1581 г.; вошла в историю под названием Острожской), выполняющей продолжительное время функцию главной книги русского богослужения.

Итак, оборот *положить душу свою (за кого, что)*; *положить душу свою за други своя* можно рассматривать как две части одного и того же фразеологизма, происходящего от евангельского выражения и сохраняющего необычные для современного носителя русского языка падежные окончания слов *друг* и *свой*. На цитатный характер второй части фразеологизма указывает и то, что в большинстве случаев он (или его часть) заключается в кавычки: «Исход сражения с численно превосходящим противником решили доблесть русских воинов, их готовность положить души свои “за други своя” и молитвенное предстательство самой Пречистой Девы Богородицы и великого печальника земли Русской преподобного Сергия, игумена Радонежского» (Донская икона Божьей Матери // Москва. 1993. № 8).

В значении и употреблении обоих выражений имеются свои нюансы, часто отступающие на задний план.

Конечная часть фразеологизма *за други своя* по-разному осмысливалась в разные периоды. В христианской литературе слово *друг* многозначно. Как отмечал архимандрит Никифор в “Библейской энциклопедии”, “в Священном Писании это слово встречается весьма часто; впрочем, слово это нередко употребляется и как обычное только приветствие, но никак не в значении истинной действительной любви и дружбы”. В евангельском тексте, следующем за отрывком, послужившим прототипом устойчивого оборота, другом называется тот, кто следует божьим заповедям: “Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам” (Иоанн. 15, 14), – так что вначале формула жертвенной



смерти была приложима к соплеменникам-единоверцам, христианам. По мере удаления от библейского первоисточника она утрачивала способность соотноситься с кругом людей одинакового вероисповедания. Так, например, в поэме Б. Пастернака “Лейтенант Шмидт” фразеологизм обозначает беззаветное служение народу:

Все отшумело. Вставши поодаль,  
 Чувствую всею силой чутья:  
 Жребий завиден. Я жил и отдал  
 Душу свою за други своя.

Один из персонажей романа А. Солженицына “В круге первом”, возвращает слову *друг* его исконное значение “тот, кто связан с кем-либо безграничным доверием, преданностью”: «В любви-то я никогда не сомневался. Но, сказать по правде, до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу, особенно такую, когда, знаете... “жизнь за други своя”».

Приведенные примеры показывают, что не только значение, но и сам фразеологизм в высказываниях варьируется. Некоторые изменения имеют регулярный характер, другие остаются окказиональными. Так, частая замена первоначального глагола на его синонимы привела к образованию общеязычкового варианта *отдать душу свою за други своя*. Наблюдаемое в романе А. Солженицына опущение глагола – нетипичное в обиходе. Это не что иное, как стилистический прием, фигура умолчания, используемая, по всей вероятности, для демонстрации спонтанности речи, передачи особого эмоционального состояния героя.

Разнообразие в облик устойчивого словосочетания вносит и замена второго компонента, обусловленная системными связями, сложившимися в русской фразеологии. Уже в древности базовый оборот *положить душу (за кого, что)* конкурировал с выражениями *положить живот (жизнь)* и *положить (сложить, складывать и др.) голову* (о них писала, в частности, и Русская речь. 1989. № 6). По мнению одних исследователей, эти выражения проникли в общий язык из воинской среды, других – из народнопоэтической символики, третьих – из книжной речи и могли распространяться дополнением *за кого, что*: “Князь наш млад есть, но положим живот свои за нь” (Московский летописный свод. Конец XV в.); “Положили есте головы за Рускую землю и за веру христьянскую” (Задонщина. Список конца XVI в.). По данным современных фразеологических словарей русского языка, эта вариантность сохраняется до сих пор:

Сзади Нарвские были ворота,  
 Впереди была только смерть...  
 Так советская шла пехота  
 Прямо в желтые жерла “Берт”.

Вот о вас напишут книжки:  
“Жизнь свою за други своя”,  
Незатейливые парнишки, –  
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, –  
Внуки, братики, сыновья!

Ахматова. Победителям (1944 г.)

Иногда начальная часть фразеологизма деформируется, передается описательно или вовсе исчезает: «Эта христианизация образного строя – свидетельство того, что понятие “подвига” у Высоцкого приближалось к своему исходному смыслу духовного деяния, видимого проявления дарованной человеку возможности богоподобия и бессмертия, жертвенной смерти “за други своя”» (К. Мяло. Посвященное в небытие). Конечная часть оборота автономно используется в качестве заголовка, например в романе А. Варламова “Затонувший ковчег”. Одна из его глав называется “За други своя”. В этом названии совмещаются несколько планов: христианский, понимаемый узко (как действенная любовь ко всякому ближнему, без ограничений, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается) и широко (как великая сила, преобразующая человека, дающая ему ощущение настоящей полноценной жизни и уберегающая, по словам героя, от ухода в секты), и современный социальный (как способность отдать все силы для блага народа).

Евангельская фраза, проявившая поразительную жизнестойкость и не растерявшая в веках своей выразительности, эмоциональной приподнятости, и сейчас занимает достойное место в лингвистических трудах, литературе, языковой культуре.

*Киев,  
Украина*



## *Иудин поцелуй и иудино лобзанье*

А.В. ГРИГОРЬЕВ,  
кандидат филологических наук

Выражение *поцелуй Иуды* известно. Данный фразеологизм не является цитатой из Библии; это лишь напоминание о “хрестоматийном” библейском сюжете, согласно которому зловещей весенней ночью Иуда поцелует предает в Гефсиманском саду своего Учителя Иисуса Христа в руки врагов: “И тотчас, как Он [Иисус] еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть; возьмите Его, и ведите осторожно. И пришед тотчас подошел к Нему и говорит: Раввӣ! Раввӣ! И поцеловал Его. А они возложили на Него руки свои и взяли Его” (Евангелие от Марка. 14, 43–46). Широко распространено представление, что оскорбительным и лицемерным было не только предательство учеником своего Наставника, но и сам поцелуй как знак, с помощью которого Иуда указывает на Иисуса. Ведь часто мы целуем только того, к кому испытываем искренние чувства: любовь, дружескую привязанность. Иуда же этот **знак любви** превращает в символ предательства и злобы (Толковая Библия. М., 1912. Т. 9). Не удивительно, что в современном русском языке выражение *поцелуй Иуды* (*иудин поцелуй*) употребляется в значении “предательский поступок, лицемерно прикрытый проявлением дружбы, любви” (Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. М., 1986; Словарь русского языка в 4-х томах. М., 1991).

Данный фразеологизм начиная с XVIII века встречается в двух вариантах: *иудин поцелуй* (*целование*) и *иудино лобзанье*. В настоящее время различие между словами *поцелуй* и *лобзанье* только стилистическое: первое из данных слов нейтрально, второе же является устаревшим и традиционно-поэтическим или ироническим. Однако в древнерусских сочинениях, произведениях русской литературы XVIII–XX ве-

ков, а также пословицах и поговорках в рассказах о поступке Иуды преимущественно встречаются слова с корнем *лобз-*, например: “Ирод клянется, Иуда лобзает, да им веры неймут” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. II); “И Сатана, встав, с веселием на лике / Лобзанием своим насквозь прожег уста [Иуды] / В предательскую ночь лобзавшие Христа” (Пушкин А.С. Подражание италянскому. “Как с древа сорвался предатель ученик”); “И лишь сказал, неведомо откуда / Толпа рабов и скопище бродяг, / Огни, мечи и впереди – Иуда / С предательским лобзаньем на устах” (Пастернак Б.Л. Гефсиманский сад).

Для выражения понятий “целовать” и “поцелуй” (более подробно см. о них: Русская речь. 2001. № 3) древнерусские книжники и русские писатели использовали как слова с корнем *-цел-*: *целовать, целование, поцелуй*, так и слова с корнем *-лобз-*: *лобзать, лобзание*. Первоначальное значение слова *целовать* – желать здоровья, целостности; *лобзать* – “лизать, облизывать, касаться” (то есть реализуется идея контакта). В то же время *лобзать* связано с такими словами, как *лабзить* “лестить”, *лабоз* “лестец”, “лестивый угодник”, “обманщик”, *лебезить* (все они являются отрицательно окрашенными). Таким образом, слова с корнем *лобз-*, в отличие от слов с корнем *цел-*, в древнерусском и старославянском языках могли выражать и отрицательно окрашенные значения. Не удивительно, что, говоря о поцелуе Иуды, славянские переводчики, редакторы и авторы оригинальных произведений первоначально использовали только слова с корнем *лобз-*. Дело не только в том, что описывается факт поцелуя; речь идет о предательском поцелуе, несущем в мир не целостность, целостность, здоровье, а разрушение и зло.

Итак, на выбор слова влияет то, что поцелуй Иуды как знак указания на Учителя оценивается отрицательно.

В раннехристианских общинах поцелуй был знаком приветствия между верующими-христианами, которые, исходя из заповеди Христа: “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга”, называют его *поцелуем любви и святым поцелуем*. Обратим внимание также на то, что греческое *philēma* “поцелуй” образовано от глагола *phileo*, который обычно употребляется при указании на факт поцелуя, при этом его первоначальное значение – “любить”. Возможно, поэтому Отцы Церкви и восприняли поцелуй, которым приветствовали друг друга ученики Иисуса – а это и была первая христианская община – в первую очередь как знак любви. Значит и лежапостол Иуда, как писал Отцы Церкви, лицемерно выдал врагам своего Учителя “символом святой любви” (Алфеев П.И. Иуда предатель. Рязань, 1915. Репринт. изд. М., 1998). Эту точку зрения из сочинений Отцов Церкви заимствуют славяне.

Но задумаемся: всегда ли поцелуй Иуды оценивался негативно?

Как известно, в слове отражаются представления о реальной действительности, которые складываются в определенном языковом коллективе и культурном пространстве. Эти представления со временем могут меняться, что и отражается в семантике слов и выражений. Попытаемся разобраться, абсолютно ли верным применительно к евангельскому контексту, вписанному в пространство иудейской культуры, является утверждение о том, что Иуда намеренно прикрывает грязное предательство поцелуем любви?

На Древнем Востоке верили, что при поцелуе душа переходит от одного человека к другому. Поцелуй дает жизнь, воскрешает из мертвых, недаром в древнееврейском языке слово *целовать* восходит к корню со значением “воспламенять”, “заставлять гореть”. В Библии, например, рассказывается о том, как с помощью поцелуя пророк Елисей оживил ребенка.

Целуя другого, человек метафорически отдает ему свою душу; то есть люди становятся сопричастными друг другу, “своими”. Поцелуй показывает таким образом, что люди являются какой-либо общностью, например, семьей (близкие родственники), союзом людей (участники сделки или перемирия), входят в круг друзей или учеников.

Именно поэтому, как считают некоторые исследователи, поцелуй Иуды мог быть обычным этикетным знаком приветствия учителя учеником.

Во время земной жизни Иисуса Христа в Палестине его часто воспринимали как одного из учителей Закона. Такие люди, как правило, не были священниками; необходимо было, чтобы человек отличался хорошим знанием Священного Писания и благочестием. Учитель Закона занимался тем, что проповедовал и толковал Закон Божий, применяя его к повседневной жизни (Библейская энциклопедия. М., 1991). Этих людей называли также “книжниками”, “законниками” или “знатоками закона”. В Евангелиях мы найдем множество эпизодов, где Иисус ведет себя как учитель Закона. Свои проповеди, используя рифмы, повторы, а также форму притчи, Иисус излагает в устной форме и чаще всего сидя, как это обычно делали книжники. И обращаются к Нему так же, как к законнику: “равви, учитель, раввуни”.

Не удивительно, что Иуда, задумавший предать Иисуса, боясь подозрений, возможно, выбирает для указания на Христа поцелуй, который использовался при приветствии учителя как знак принадлежности к группе, общности учеников. Недаром, в Евангелии мы читаем: “И тотчас [Иуда] подошел к Иисусу, сказал: радуйся [то есть здравствуй], Равви [то есть Учитель]! И поцеловал Его...”

Обратим внимание, что в Евангелии от Иоанна о поцелуе Иуды вообще не упоминается. Возможно, автор не придавал этому действию предателя особенного значения.

Впрочем, те, кто хорошо знает Евангелие, могут здесь возразить,

что Иуда все же приветствовал Иисуса поцелуем как близкий друг. Ведь Христос говорит предателю: Друг, для чего ты пришел? Однако на самом деле обращение *друг* (греч. *hetaire*), которое употребляется здесь, часто использовалось применительно к деловым партнерам, людям малознакомым или совсем неизвестным (Толковая Библия. Т. 9. М., 1912). Для обращения же к близким друзьям обычно применялось греческое *philos* (кстати, однокоренное с *philēma* “поцелуй” и *phileo* “любить, целовать”). Так, например, говорит Иисус о Лазаре, которого собирается воскресить.

Как полагают некоторые исследователи, согласно нормам поведения в Древнем Израиле, ученику не было позволено приветствовать учителя первым, да и позднее эта традиция сохранялась. Таким образом, поцелуй предателя – это одновременно приветствие и во всех отношениях продуманное оскорбление. Предатель, первым приветствуя Христа, показывает тем самым, что Иисус больше не является Учителем, не обладает авторитетом и неприкосновенностью. Теперь толпе вооруженных людей, которая всего несколько часов назад, затаив дыхание, внимала речам Сына Божия, можно действовать.

Представление о том, что Иуда лицемерно и лъстиво использует знак любви для прикрытия предательства, возникает в раннехристианских общинах и закрепляется в сочинениях Отцов Церкви, откуда и заимствуется славянами. Недаром в старославянских и древнерусских текстах часто поцелуй предателя не только называется *лобзанием*, но *лъстивым лобзанием*, нередко об Иуде говорится как о *лъстце*. Таким образом, значение выражения *иудино лобзанье* в русском языке “предательский поступок, лицемерно прикрытый проявлением дружбы, любви”, связано с раннехристианскими представлениями о поступке предателя.

В то же время вплоть до XIX века славяне понимали и то, что поцелуй лжеапостола служил и для приветствия. Так, В. Даль в своем словаре определяет выражение *иудино лобзанье* как “лукавый, облыжный привет” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. II.). Возможно, это связано и с тем, что на Руси поцелуй долгое время использовался как знак приветствия. У Островского мы читаем: “[Аннушка] Виновата ли я, что у нас на каждом шагу Иуду встретишь, который тебя целует, а сам тут же продает ни за грош!” (Островский А.Н. На бойком месте. Здесь возможна контаминация значений “приветствовать”, и “целовать”). Именно поэтому в литературе мы встречаем и выражение *иудино целование* (позднее – *поцелуй*). Так, например, у М.Е. Салтыкова-Щедрина: “Эта республика обеспечила ему все, во имя чего некогда он направо и налево расточал иудины поцелуи и предавал свое отечество в руки первого встречного хищника” (За рубежом). Нередко в таком случае авторы добавляли прилагательные *изменническое* или *предательское*.

Как мы можем увидеть, изменение представлений о поступке Иуды отражено в выборе слов, которые служат для обозначения поцелуя. Древнееврейское слово, использующееся для номинации поцелуя-приветствия, восходит к корню со значением “воспламенять”, “заставлять гореть”. В контексте иудейской культуры это обусловлено верой в то, что поцелуй дает жизнь, воскрешает из мертвых, так как при поцелуе душа переходит от одного человека к другому. Греческое *philēma* “поцелуй”, которое мы находим в Евангелии, – это существительное от глагола *phileo* “любить”, “целовать”. Таким образом, исходя из внутренней формы греческого слова, поцелуй – это знак любви. Такое понимание зафиксировано и в толкованиях Отцов Церкви. С учетом данного представления славяне выбирают применительно к поступку Иуды слово *лобзать* (и производное *лобзание*), в котором, с одной стороны, реализована идея контакта (первоначальное значение данного слова “лизать”, “касаться”), с другой стороны, показана лъстивость, лицемерность поцелуя.

Итак, мы видим, что в русском языке в значении выражения *поцелуй Иуды* фиксируется не реальная действительность (поцелуй в Древнем Израиле в исследуемом случае, возможно, являлся этикетным знаком приветствия учителя учеником), а представления, сложившиеся в обществе под влиянием как современного этикета, так и культуры и этикета раннехристианских общин. Таким образом, используя библейские фразеологизмы, мы имеем дело не с буквальным пониманием текста (даже в случае прямой цитации), а с представлением о данном отрывке, которое складывается в определенном языковом коллективе и культурном пространстве и меняется с течением времени. Важное значение имеет в таких случаях внимательное изучение внутренней формы слов, входящих в состав фразеологизма.

## СОРОКОНОЖКА

А.В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Впервые это слово отмечено в словаре Д.Н. Ушакова с указанием, что оно употребляется в разговорной речи и приблизительно значит то же, что *многоножка*, *сколопендра*. Кстати, *сколопендра* в русском языке впервые отмечено также в словаре Д.Н. Ушакова. Очевидно, еще лет 60–70 назад наиболее употребительным было слово *многоножка*, а термин *сколопендра* – книжное, специальное, и словарь определяет его следующим образом: “животное из класса многоножек, укусы которого ядовиты”. БАС дает этому слову более детальное определение: “многоножка – наземное животное типа членистоногих, с червеобразным хвостом и большим количеством членистых ножек” (т. 6). В БПС также есть слово *сороконожка*, но без толкования, только с отсылкой на слово *многоножка* и с пометой разговорное. А вот уже в последних изданиях словаря С.И. Ожегова у слова *сороконожка* нет пометы *разговорное*. Это значит, что оно вошло в общий язык и является общепотребительным, нейтральным, выйдя за пределы разговорно-просторечной лексики.

Значит ли это, что раньше, до выхода этих словарей, слова *сороконожка* в русском языке не было? Нет, потому что в словаре В.И. Даля, вышедшем в XIX веке, его можно найти, но оно осознавалось вплоть до XX века диалектным. С начала же XX века *сороконожка* проникает из областной речи в городское просторечие. В XIX веке литературным, книжным эквивалентом ему было уже упомянутое *многоножка*. Последнее слово попало в словари также довольно поздно – не ранее середины XIX века. Однако в другом фонетическом и морфологическом облике – существительного *многоножка* и прилагательного *многоножный* – слово встречалось в памятниках южнославянской письменности.

В тексте “XII слов Григория Назианзина”, известном на Руси с XI века, встречаются *многоножные рыбы*. Это перевод греческого прилагательного *ton poliposon* (букв. – “многоногий”). В завезённой на Русь в XV веке южнославянской рукописи “Матица Златая” употребляется термин *многоножица* для перевода греческого *polipois* (*poli* – много, *pois* – нога, букв. – “много ног, многоногий”): “Есть оубо рыба, юже възывают многоножица” (есть рыба, которую называют многоножи-



цей). Как видим, значение слова не слишком прозрачно: переводчик перевел дословно (калькировал) незнакомую для него реалию и отождествил это многоногое насекомое с рыбой по месту обитания – море, вода. Таким образом, при помощи функционального переноса в славянском тексте появилось новое обозначение.

Однако в живом языке восточных славян эти слова были не употребительны из-за их искусственности и экзотичности, оставаясь только фактом книжного языка. Зоологический термин *полип*, повторяющий греческое *polipois*, был заимствован в русский язык только в начале XIX века в связи с проникновением научных терминов из европейских языков; в частности, последний термин заимствован из французского языка и впервые отмечается в “Новом словотолкователе...” Н. Яновского (1806. Ч. 3).

Близость между “многоногими рыбами”, которые упоминались в памятниках южнославянской письменности, и насекомыми, живущими в сырых, мокрых местах, несомненно существует – именно из-за места их обитания. Скорее всего восточные славяне обозначали таких насекомых словом *мокрица* (в укр. яз. – *мокриця*). Однако исконной мотивирующей базой восточнославянского обозначения служило не количество ножек (как в калькированном слове, повторяющем структуру греческого), а место обитания насекомого – мокрая, сырая среда. Возникнув в народном языке, слово испытывало колебания в ударении: оно могло быть на первом слоге – *мо́крица* (ударение ориентируется на производящую основу; оно отмечено в словаре Нордстета 1780 г.) или на втором слоге – *мокри́ца* (действие словообразовательной модели с ударением на суффиксе *-иц-*; такое ударение отмечается в словаре Академии Российской 1793 г.).

Но в восточнославянской письменности были и другие названия для обозначения таких многоногих насекомых. Например, в рукописи XVI века “Заповеди святых апостолов и отцов” (в составе Дубенского сборника) можно было встретить слово *стонога* в значении “мокрица”. “Впаде мышь или стонога или жаба или сверчек” (появились мыши, и мокрицы, и жабы, и сверчки). Однако и это обозначение было только книжным, не употреблявшимся в живом разговорном языке восточных славян, и пришло оно, наверняка, из языка южных славян. Оно сохраняется в сербохорватском языке и сейчас.

Кроме того, во всех славянских языках существовало еще одно обозначение такого насекомого – *гусеница*. Уже в “Повести временных лет” (XI в.) есть запись: “Земли же согрешивше котореи любо, казнит Бог смертью, ли гладом, ли наведением поганных, ли ведром, ли гусеницею, ли инеми казнями (страну же, народ, которые согрешили, наказывает Бог войной и мором, или голодом, или набегами язычников, или засухой, или нашествием гусениц, или другими наказаниями)”. Иные формы слова *гусеница*: *усеница* (Златоструй, XII в.), *юсеница* (Упыр.

1047 г.), *усенец* (Сбор. Волог. XV в.). Заметим, что среди этих форм *усеница*, *усенец* являются собственно русскими формами, а *юсеница* – старославянской, болгарской. Поляки называли это насекомое (гусеницу) словом *gąsienica* или *liszka*, чехи – *housenka*. Слово происходит от слова *ус*, т.е. гусеница – это насекомое с большим количеством усиков. Интересно, что в английском языке гусеницу называют *caterpillar*, это слово восходит к позднелатинскому *catta pilosa* “волосатая кошка”. Значит, когда-то это насекомое поразило человека именно обилием усиков, волосиков.

Итак, общеславянским названием многоногого насекомого было, скорей всего, *гусеница*. В составе памятников письменности, отражающих черты южнославянских языков, употреблялись и другие наименования *многоножица*, *многоножные (рыбы)*, *стонога*. Однако собственно восточнославянским обозначением было *мокрица*.

Но вернемся к калькированному слову *многоножка*. Поляки называют это насекомое *wij*, *wielonozki* (*wiele* – “много”, следовательно – “многоножка”), болгары – *скрипя*, сербы и хорваты – *стонога*, чехи – *stonozka*, литовцы – *simtakojis*, немцы – *Tausendfü(ß)ler*, англичане – *centipede* (в научном языке – *myriapod*), французы – *mille-pieds* (в научном языке – *myriapode*), шведы – *tusenfoting*, финны – *tuhajalkoinen*. Здесь интересно отметить разницу в восприятии этого насекомого у разных народов: для некоторых это насекомое представляется многоногим, или стоногим (южные и западные славяне, англичане, литовцы), для других – тысяченогим (немцы, шведы, финны) или даже десятитысяченогим (в научном языке у французов и англичан). Конечно, в современных обозначениях количественный момент наименования практически не осознается носителями языка, однако попытаемся проследить этот номинативный элемент в языковых ассоциациях восточных славян, в первую очередь русских.

Что такое *много* в представлении русского языка? Кажется, что под этим словом русские имели в виду те вещи, предметы или их части, достаточно мелкие по структуре или размеру. Ср. некоторые производные слова в словаре Даля: *множенка* (червь, нападающий на огородину), *многоголовчатое растение* (= *многоголовник*), *многолапчатый лист*, *многолепестковый цветок* (= *многолепестник*), *многоногое насекомое* (*многоног*, *многоножица*, *многоножка*), *многоройный улей*, *многоротые полипы*, *многостворчатый* (состоящий из нескольких створок) и многие другие. Однако все эти слова производят впечатление какой-то искусственности, неестественности для русского языка. Действительно, слов с корнем *много* закрепилось в русских говорах не такое уж большое количество. Чаще всего слова с этим корнем употреблялись в книжном типе языка. Число их было велико: особенно слов с абстрактно-моральной семантикой типа *многотерпеливый*, *многострадальный* или изредка в некоторых жанрах фольклора

(ср. фольклорно-диалектное слово *многоптица* – некая загадочная сказочная птица).

Другое представление о большом количестве выражалось словом *сто*. С ним у славян – и в частности у русских – связаны иные ассоциации. В.И. Даль дает одно из значений слова *сто*: “много, но неопределенно” (ср. толкование слова *многий* “великий числом, в большом количестве, избыточный, изобильный”). Приведем несколько примеров со словом *сто* из словаря В.И. Даля: *стоглавый змей*, *стоголовник* (вид чертополоха), *столицый* (лицемер), *стосил* (растение), *стоцвет* (один из видов ромашки), *стоног* (у Даля такое объяснение: “сочиненное название мокрицы), *стоножник* (у Даля: “сочиненное название папоротника”), *стоустая молва* и другие. *Сто* – как и *много* – так же трудно поддается счету, однако в нем уже нет идеи чрезмерно большого количества, избыточности, изобилия. Не случайно так много в русском фольклоре загадок, пословиц, поговорок с этим словом: *Сто одежек и все без застежек* (капуста); *На одного виноватого по сту судей*; *Служи сто лет, а не выслужишь ни ста реп*; *Не дал Бог сто рублей – а пятьдесят не деньги*; или типичные разговорные фразы: *У него сто причуд*; *У него сто пятниц на неделе*; *Сто раз ему говорено*.

Как видно из этих примеров, слово *сто* в русском языке ассоциировалось с числом, которое как бы представляет актуальный предел счета в обиходной, повседневной жизни обычного средневекового человека; иными словами, можно сказать, *сто* – это одно из чисел, которое входило в состав лексических средств, формирующих наивную языковую картину мира древнерусского человека. Однако все слова со *сто* книжные, переведенные или созданные по готовой модели. Вот почему В.И. Даль и дает некоторым словам пояснение *сочиненное*. В живом языке восточных славян сложные слова со словом *сто* были неупотребительны.

Еще одно слово со значением “очень много” – *тысяча*. С ним у славян были связаны представления о числе, с которым им не приходилось иметь дела в повседневной, будничной жизни. В.И. Даль приводит такие примеры: “Господь одним хлебом тысячи напитал (ассоциации с Евангелием, где говорится, что Иисус Христос кормил большое количество людей, слушавших его проповедь)”; “По сту на день, по тысяче на неделю (пожелание молотильщикам)”; тысячная красота (переведенное название растения *Amarantus*, в народе называемого *петушок-гребешок*, или *кошачий (лисий) хвост*), *тысячелистник* (растение *Achillea millefolium*, народные названия – *деревей*, *кровеник*, *крававник*, *серпорез*, *порез*, *грыжовник*, *рудометка*, *подбел*, *дикая греча*, *кашка*, *белоголовка*, *растиральник*, *сузик*, *гулявица*, *рябинка*; здесь видно, что *тысячелистник* – это калька с латинского *millefolium*); иносказательное обозначение – *тысячеглазый* (Аргус – в греческой мифологии многоглазый великан, приставленный для охраны дочери царя Ио). Во

всех этих примерах очевидна поэтическая, гиперболическая функция компонента *тысяча*: он призван создать преувеличенное представление о предмете.

Сложного слова с лексическим (гиперболизированным) элементом *тысяча* для обозначения насекомого у славян, очевидно, не было, в отличие от немецкого, английского и французского языков, которые заимствовали его из латинского.

Именно книжная основа происхождения *стоног* (*стоножник*), *многоног* (*многоножица*, *многоножка*) создавала предпосылки для образования других слов по этой модели. Так скорей всего по аналогии со словами *стоног* (*стоножка*) или *многоножка* в разговорном языке появилась и *сороконожка*. Слово *сорок* не является частотным для образования сложных слов в русском языке. Часть таких слов – кальки с греческого *сорокоуст* “сорокадневный молебен за упокой души умершего” (ср.-гр. *sarakosti*, в народном языке неверно сближенное с русским *уста*). Другая часть таких обозначений возникла, вероятно, в народном и диалектном языке: *сороконедужник* (растение, в народе также называемое *норица*, которая – как считали – помогает от сорока болезней), *сороконедужная* (один из видов мотылька), *сорокоприточная* (*сорокопритка*; растение, также используемое как лечебное средство). Конечно, число *сорок* здесь употреблено не в прямом значении, а в обобщенном, расширительном: “много или довольно много”. По крайней мере, использовано народно-церковное значение слова: по народно-медицинским представлениям (основанным на библейских и апокрифических легендах), у человека было около сорока болезней, появившихся в результате действия на него демонов, нечистой силы. Кроме того, как не вспомнить народно-метафорическое обозначение Москвы как города, в котором церквей *сорок сороков*.

Очевидно, в слове *сорок* отложились как старинные русские представления (например, о торговой единице счета беличьими и собольими шкурами, это его исконное, этимологическое значение), так и позднейшие семантические напластования, связанные с христианскими мотивами. В дальнейшем значение было обобщено – “довольно большое количество”. Вероятно, и в обозначении *сороконожка* отражается сформировавшееся представление о *сорока* как о довольно большом количестве. Проникновение термина *сороконожка* в разговорный язык города из диалектного именно в последние десятилетия XIX века и в первые XX было облегчено массовым заимствованием диалектизмов в городское просторечие в связи с переездом крестьян в город на заработки. Это нелингвистическая (экстралингвистическая) причина актуализации слова.

Другая причина его популяризации – лингвистическая, а именно: привлечение народных слов с целью уточнить понятия зоологии. В конце XIX века слово *многоножки* употреблялось в зоологии в тер-

минологическом значении, например, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1896. Т. 19 полутом А) научное определение. *Многоножки* (myriapoda) – класс суставчатоногих как членистоногих (Arthropoda)...”. Характерно, что термин *суставчатонogie* после этого словаря больше в русском языке не употреблялся, таким образом, он оказался “словом-однодневкой”. Это легко доказать. В том же словаре при слове *членистоногие* дается отсылка: “или суставчатонogie или Arthropoda” (Т. 28 полутом А). И далее: “Тип членистоногих в современном смысле был создан немецким ученым Зибольдом (von Siebold) в 1840-х годах”. Именно с немецкого слова *Gliederfü(ß)ler* и было калькировано слово *членистоногие* (нем. *Glied* – член (тела), *Fuß* – нога). До этого времени русские зоологи употребляли словосочетание *суставчатые животные* или – слово-монстр – *суставчатонogie*. С конца XIX века в научное употребление вошел термин *членистоногие*, который вытесняет прежнее обозначение *суставчатонogie*.

Когда словарь Д.Н. Ушакова определяет слово *многоножка*, он еще следует научному употреблению, идущему из XIX века: *многоножка* – животное из класса членистоногих. А вот какое определение и систематизацию этих понятий дает Большая Советская Энциклопедия: *членистоногие* (Arthropoda) – высший и самый обширный класс беспозвоночных животных (Т. 29); *многоножки* (myriapoda) – общее название четырех классов наземных членистоногих животных: губоногих, двупарноногих, симфил и пауропол (Т. 16). Как видно, термин *членистоногие* стал употребляться как специализированное название зоологического класса, термин же *многоножка*, преимущественно во множественном числе – важный признак перехода слова из общего языка в научный (!), – закрепил за собой значение общего названия некоторых групп, относимых к членистоногим.

В разговорном, обиходном языке последних десятилетий шло угасание слова *многоножка* и активизация слова *сороконожка*, которое уже воспринимается не как разговорное или просторечное, а вполне нейтральное. И уже не важна внутренняя форма слова и соответствие ее номинативной истине – “сорок ножек”. Именно образ насекомого с большим количеством ножек создает потенциальную базу для образования переносных значений слова. Пожалуй, сейчас только дети задаются вечным филологическим вопросом: если это сороконожка, действительно ли у нее “сорок ножек”?

Санкт-Петербург

## ДУРАКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Л.Е. КРУГЛИКОВА,  
доктор филологических наук

Мудрость, ум, стремление к познанию, благоразумие издавна были предметом восхищения. В то время как глупость, безрассудство осуждались. Если учесть, что при характеристике человеческих качеств отрицательная оценка преобладает над положительной, то многочисленность синонимического ряда “глупый человек” становится вполне объяснимой. Данный ряд является самым большим в группе качественных наименований лица.

Интересующий нас синонимический ряд начал складываться с XIII века. По данным словарей, в XIII–XV веках он состоял из двух членов: *безумник* и *буйак* (от прилагательного *буйи* “глупый, безумный”), которые просуществовали соответственно до XVII и XVI веков. С XVI века в этот ряд начинают входить не только лексемы, возникшие путем словообразования, но и слова, появившиеся в результате переноса наименований, фразеологические единицы. Словообразования, входящие в синонимический ряд “глупый человек”, имеют весьма различные производящие основы: *глупец*, *глупыш* (обычно о ребенке), *глулячок*, *глупуша* (о лице женского пола), *тупица*, *тупоумец*, *тупец*, *дурачина*, *дуралей*, *дурень*, *дурында* (чаще о лице женского пола), *дуреха* (о лице женского пола), *полудурок*, *полудурье*, *придурок*, *дурносон*, *межеумок*, *недоумок*, *несмышленьиш* (обычно о маленьком ребенке), *несмысль*, *идиотина*, *бестолочь*, *бестолковщик*, *обалдуй*, *пустоголов*, *буй*, *палоум* (*полоум*).

У семантических словообразований перенос осуществляется прежде всего с наименований умственно неполноценных людей: *идиот*, *кретин*, *дебил*, *дурак*, *дура*. С двумя последними компонентами имеется значительное количество фразеологизмов: *дурак дураком* (*дура дурой*), *круглый дурак* (*дура*), *набитый дурак* (*дура*), *петый* (*отпетый*) *дурак* (*дура*), *неповитый дурак* (*дура*), *беспросветный дурак* (*дура*), *законченный дурак* (*дура*).

Этимология оборотов *круглый дурак*, *беспросветный дурак* не требует каких-либо разъяснений. Что касается выражения *законченный дурак*, то лежащий в его основе метафорический перенос также вполне понятен, хотя этот оборот и представляет собой кальку с французского *un sot acheve*. Внутренняя форма фразеологизма *набитый дурак*

достаточно прозрачна. Ср. с фразеологическими единицами литературного языка *мякинная голова*, *каша в голове* у кого-либо, *солома в голове* у кого-либо, диалектными выражениями *голова трухой набита* у кого-либо, *в голове пелева* (*пелева* – “мякина”, “овсяные отруби”, “опилки”. – Л.К) у кого-либо и т.п. Интересное обыгрывание внутренней формы оборота *набитый дурак* находим в рассказе русской писательницы Тэффи “Дураки”: “Большинство дураков читает мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это дураки набитые. Название это, впрочем, очень неправильное, потому что в дураке, сколько он себя не набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка”.

Происхождение устаревших фразеологизмов *петый дурак*, *неповитый дурак* нуждается в объяснении.

Слово *петый* восходит к глаголу *петь* в значении, которое реализуется в таких сочетаниях, зафиксированных в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля, как *петь обедню*, *молебен* (ср. *петая просвира*, т.е. освященная просфира). В качестве глагола совершенного вида к *петь* выступает глагол *отпеть*, производным от которого является слово *отпетый*. Таким образом, *петый* или *отпетый дурак* – это безнадежный к исправлению дурак, т.к. отпевание является последним действием над человеком в его земной жизни (ср. с фразеологизмом *отпетая голова*). В “Словаре русских народных говоров” зафиксировано прилагательное *непетый*, имеющее значение существительного “покойник, погребенный без церковного обряда”. Не отпевали обычно недостойных людей. Отсюда и диалектные фразеологизмы *непетая дура* “о глупой женщине”, *дура непропетая* “об очень глупой женщине”, *непропетый лентяй* “об очень ленивом человеке”. Вероятно, первоначально эти обороты были жаргонными: в “Словаре русских народных говоров” относительно фразеологизма *дура непропетая* дается пояснение “брань певчих” (СРНГ. Вып. 21).

Слово *неповитый* первоначально, по всей видимости, имело значение “неспеленатый”. В словаре В.И. Даля находим словосочетание *повить младенца*. Таким образом, *неповитый дурак* (*дура*) – это как бы человек глупый с младенчества.

В качестве источников метафоризации выступают также наименования деревянных предметов – *дубина*, *пень*, *чурка*, *дубина стоеросовая*, *чурбан*, *столб*, *пень березовый*, *чурка с глазами*, *болван*, *болван неотесанный* (*нетесанный*); растений и животных – *дерево*, *дерево деревом*, *дерево стоеросовое*, *осел*, *глупая* (*тетеря* (*тетерев*), *лошадь*, *дуб*; орудий труда и их частей – *пест*, *обух*; изваяний – *статуй*; личное имя – *Иванушка*, *Иванушка-дурачок* (по имени персонажа русских народных сказок, обычно младшего крестьянского сына, ленивого и глупого, который, однако, при определенных обстоятельствах проявляет ум, находчивость, смекалку).

Пояснений требуют те метафоры, для которых характерно наличие соотносительных слов и фразеологизмов. У последних прилагательное выполняет экспрессивную функцию. Так, в оборотах *дубина стоеросовая*, *дерево стоеросовое* содержится прилагательное *стоеросовый*, которое уже непонятно носителям современного русского языка, что и создает особую экспрессивность при употреблении данных выражений. Первоначально прилагательное *стоеросовый* служило как бы шуточным названием дерева, истинное название которого неизвестно. В словаре В.И. Даля находим следующий пример: “Из какого дерева это сделано? – А кто его знает, должно быть стоеросовое”. Дословно *стоеросовый* значит “растущий стоймя”. Но существительное *дубина* ни в одном из словарей русского литературного языка не зафиксировано в значении “дерево”, а значит, в прямом значении не могло сочетаться с указанным прилагательным. Ввиду более ранней фиксации примеров с метафорой *дубина* можно предположить, что фразеологизм *дубина стоеросовая* появился на базе переносного значения слова *дубина* путем присоединения к нему прилагательного *стоеросовая* для усиления экспрессивности – как указание на человека, который в отличие от палки большую часть времени проводит в вертикальном положении (“растет стоя”). К тому же прилагательное *стоеросовый* присоединяется и к другим существительным, служащим для характеристики глупого человека, причем одни из образовавшихся сочетаний стали уже общезыковыми: *болван стоеросовый*, *дурак (дура) стоеросовый*, другие являются окказиональными: *пень стоеросовый с глазами*, *балбешка стоеросовая*, *зяблик стоеросовый*. В то же время можно выдвинуть и гипотезу о том, что слово *дубина* в метафорическом значении и фразеологизм *дубина стоеросовая* появились независимо друг от друга в результате переосмысления.

Дело в том, что первоначально слово *дубина*, по всей видимости, служило наименованием дерева и суффикс *-ин(а)* имел в нем значение единичности (ср. *березина*), ибо, во-первых, существительное *дуб* в XII–XVI веках могло обозначать не только дуб, но и просто дерево без указания на его вид, *дубие* в XIV–XVII веках зафиксировано в качестве собирательного по отношению к *дуб* “дерево” и “дуб”. Во-вторых, в родственных языках (украинском, чешском, польском, верхнелужицком) существительное *дубина* имеет значение “дубовая роща”, а в украинском еще и “дуб”, т.е. опять же обозначает растение, а не просто палку. В-третьих, в говорах Приамурья существительное *дубина* широко употребляется не только в значении “дуб”, но и “большое высокое дерево”, что объясняет появление у слова *дубина* еще одного переносного значения – “высокорослый человек”. В-четвертых, имеется узуальный оборот *дерево стоеросовое*.

И.Г. Добродомов, отвечая на вопрос читателя о происхождении выражения *дубина стоеросовая* (Русская речь. 1968. № 5), высказал пред-



положение о первоначальном возникновении оборота в речи семинаристов ввиду необычности словообразовательной модели *стоеросовый*. У прилагательного выделяются два корня: *стой(-ать)* и *рос(-т)*, последний из которых представлен не в своем обычном виде. В этой же заметке говорится о том, что Ж.Ж. Варбот, также склоняясь к семинарскому происхождению данного фразеологизма, отмечает, что прилагательное *стоеросовый* можно воспринимать как переделку греческого *stauros* “кол, шест, свая”.

Что касается языковых единиц *болван* и *болван неотесанный* (*нетесанный*), то они являются наиболее древними. В настоящее время слово *болван* в исходном значении “обрубок дерева, чурбан” в литературном языке практически уже не употребляется, а значит, существительное *болван* “глупый человек” постепенно перестает восприниматься как метафорическое образование. Оборот *болван неотесанный* (*нетесанный*), где прилагательное вызывает к жизни это значение существительного, в последнее время используется очень редко. Необходимо заметить, что кроме значения “обрубок дерева, чурбан” слову *болван* свойственно и значение “идол, изваяние языческого божества”. Оба указанных прямых номинативных значения у слова *болван* известны с XII века, причем более широко эта лексема употреблялась в значении “идол, изваяние языческого божества”. Поэтому не исключено, что перенос мог осуществляться и с этого наименования, поскольку неподвижность и невозмутимость лица идола могли внушать мысль, что он не понимает того, что от него просят, хотя.

Наибольшее распространение среди метонимических образований получили единицы с компонентом *голова*. Их можно объединить в пять групп в зависимости от характера прилагательного. В первую группу входят фразеологизмы, у которых прилагательное прямо указывает на отсутствие ума: *глупая голова*, *бестолковая голова*, *безмозглая голова*, *безумная голова*, *несмысленная голова*. Во вторую – обороты с прилагательными, в исходном значении указывающими на ее содержимое: *пустая голова* (*башка*), *мякинная голова*. В диалектах встречается выражение (*голова*) *пуста как решето*, а также существует окказионализм *голова решетом* (Д. Гранин). В третью – фразеологизмы с прилагательными, в прямом значении обозначающими материал, из которого сделана голова: *дубовая голова* (*башка*), *еловая голова* (*башка*), *чугунная голова*, *деревянная голова*. К окказионализмам надо отнести образования *посконная голова* (Ф.М. Достоевский), *пробковая голова* (Л. Андреев. Ср. с общеязыковым выражением *глуп как пробка*).

Модель, по которой образованы обороты, входящие в третью группу, носит универсальный характер и встречается во многих языках: английское *a wooden head*, французское *tête de bois*, итальянское *testa di ligno*, немецкое *Der Holzkopf* (все обороты переводятся буквально “де-

ревянная голова”), болгарское *букова глава* – “буковая голова”, *дъбова глава* – “дубовая голова”, *дървена глава* – “деревянная голова”, белорусское *галава дубовая*, *галава яловая*, украинское *голова деревина*, *голова солом'яна*, чешское *dubova hlava* – “дубовая голова”, чувашское *тӑм пус* “глиняная голова” и т.д. Как видим, чаще всего используется наименование такого материала, как дерево. Это, вероятно, не случайно, так как оно во все времена играло в жизни человека наибольшую роль. Будучи твердым, непроницаемым, оно стало символом тупости, невосприимчивости человека.

Появление в чувашском языке фразеологизма с компонентом, называющим не дерево, а другой материал – глину, не является случайностью, а обусловлено, вероятно, какими-либо особенностями жизни этого народа. Дело в том, что в чувашском языке мы находим целую серию оборотов с компонентом *тӑм* “глина”: *тӑм кайак* “неповоротливый, малоподвижный человек” (дословно “глиняная птичка”); *тӑм кӗлетке* “бестолочь, непонятливый, тупой человек” (дословно “глиняная фигура”); *тӑм кушиле* “бестолочь, дурак” (дословно “глиняный сосуд”); *тӑм писмен* “несообразительный, несмекалистый человек” (дословно “глиняный безмен”); *тӑм пӑшал* “болван, дурак” (дословно “глиняное ружье”); *тӑм шахлич(ӗ)* шутовое “несмышлениш” (о детях – дословно “глиняная свистулька”) и т.п.

В четвертую группу входят фразеологизмы с прилагательными, указывающими на то, кому принадлежит голова: *дурья голова (башка)*, *ежова голова*, *баранья голова*, *курья (куриная) голова (башка)*. Среди них можно выделить как бы две разновидности: обороты с притяжательными прилагательными, образованными от наименований животных, и фразеологизм с притяжательным прилагательным, образованным от наименования человека. Первая разновидность подкрепляется в русском языке окказионализмом *козлиная голова* – “Куда, говорит, идешь, козлиная твоя голова?” (М. Зощенко. Загорючка) и диалектным фразеологизмом *налимья голова*. Обороты этой группы также имеют параллели в других языках, например, польское *barani teb* (дословно “баранья голова”); английское *ass-head* (дословно “ослиная голова”); *beefhead* (дословно “коровья или бычья голова”); латышское *aitasgalva* (дословно “овечья голова”), эстонское *lambapea* (дословно “овечья голова”) и т.д.

В пятую группу мы включили два оборота: *садовая голова*, *капустная голова*. Оборот *капустная голова* отсутствует в словарях русского языка, за исключением “Материалов для фразеологического словаря русского языка XVIII в.” М.Ф. Палевской (Кишинев, 1980), где он дается с единственным примером: “А тебе говорю, что я хочу со всеми здесь одеться, капустная голова; ты думаешь, что ты мудренее нежели самые правила, а не знаешь, где осел держит хвост. Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе имп. Анны Иоановны в

1773–1775 гг.” Это свидетельствует о том, что данный фразеологизм является или же индивидуально-авторским, или же представляет собой дословный перевод устойчивого выражения другого языка, судя по источнику, итальянского. Последнее предположение представляется более реальным, т.к. в итальянском языке действительно есть фразеологизм *testa di cavolo* “остолоп” (дословно “голова капусты”), а также *testa di rapa* (дословно “голова репы”) в том же значении. Кроме того, в разговорной речи итальянцы называют голову *тыквой* (*zucca*: 1 – “тыква”; 2 – *разг.* “голова, башка”), отсюда *zuccone*: 1 – “большая голова”, 2 – *разг.* “упрямая голова; остолоп, дурак, болван”.

Тексты указанных итальянских комедий и интермедий были подготовлены украинским ученым В.Н. Перетцем. Непривычный для русского языка оборот *капустная голова*, по всей видимости, не воспринимался так им, потому что в украинском языке во время выхода в свет книги В.Н. Перетца (1917 г.) он наличествовал. Его мы находим, например, в книге И. Франко “Галицко-руські народні приповідки” (Львів, 1901–1905).

Языковая единица *kāpostgalva* имеется в латышском языке, а *głowa kapuściana* – в польском. С учетом того, что украинский фразеологизм *голова капустная* бытует в западной части Украины, можно говорить о вполне определенном ареале распространения данного оборота.

Интересно, что слово *капусты*, по данным этимологических словарей, представляет собой общеславянское заимствование из латинского языка, образованное, вероятно, путем контаминации латинского *capitium* “кочан капусты” от *caput* “голова” со среднелатинским *compos(it)a* “варенье” (буквально “составленное”). Кроме того, в ряде языков для называния кочана капусты используются словосочетания, которые дословно переводятся как “голова капусты”, словенское *hlava kapustnā*, чешское *hlavaka zeli*, польское *głowa kapusty*, сербохорватское *глава купуса*, украинское *головка капусты*, латышское *kāpostgalva*, чувашское *кунăста пуçĕ* и т.д.

Сопоставление головы человека с кочаном капусты находим в “Стихах о советском паспорте” В.В. Маяковского: “И не повернув головы кочан и чувств никаких не изведав...”

Перенос “наименование овощей, фруктов + голова” → “глупый человек”, вероятно, является универсальным; в японском языке находим *каботяатама* (буквально “тыквенная голова”), в английском (амер. жарг.) – *banana-head* (буквально “банановая голова”), в болгарском – *лукова глава*, в испанском *cabeza de melon* (буквально “голова дыни”).

Из фразеологических единиц современного русского литературного языка в рассматриваемую группу можно включить лишь оборот *голова садовая*: “Это людям-то помогать вредно? – с задором спросил Фома. – Эх: голова садовая, то есть – капуста! – сказал Маякин с улыбоч-

кой (М. Горький. Фома Гордеев). Сближение оборота *голова садовая* и слова *капуста* проливает некоторый свет на этимологию оборота, но непонятным остается, почему капуста называется *садовой головой*, а не *огородной*. Здесь на помощь нам приходят диалекты и старорусский язык.

В “Ярославском областном словаре” (Ярославль, 1981–1991) слово *сад* зафиксировано в значении “огород, участок земли для посадки овощей”. Во множественном числе это существительное имеет следующие оттенки значения: “овощи, посаженные в огороде”, “овощи, особенно капуста, пущенные на семена”, “капустные кочерыжки, вырванные из земли с корнями для посадки весной на семена”. В словаре В.И. Даля отмечается, что слово *сад* в архангельских говорах имеет значение “огород”, и приводятся словосочетания *сады картофельные*, *сады овощные*. В “Словаре русских говоров Новосибирской области” под ред. А.И. Федорова (Новосибирск, 1979) находим существительное *садовка* “огородное растение, посаженное на семена”. Наконец, в “Словаре русского языка XI–XVII вв.” встречаем сочетание *садовый овощ*: “А буде в прием против сей росписки в огородах садового овощу, хормного строения и рыбных снастей не объявитца, и то взять на мне, игумене Афонасие с братиею. Д. патр. Никона, 382. 1676 г.” (Вып. 23). Интересно, что в ряде языков наблюдается совмещение значений “огородный”, “садовый” в одном слове.

В русском языке оборот *садовая голова* впервые зафиксирован в словаре М.И. Михельсона “Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний” (СПб., 1902–1903) с единственным примером из рассказа А.П. Чехова “Винт”: “Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Погарнина (шуточное название карты) лучше ходить”. По свидетельству современников А.П. Чехова, выражение *садовая голова* в качестве порицательного очень ему нравилось. Не случайно мы находим его и в других произведениях, а также в письмах: «Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю! (Налим); «Голова садовая! “Будильник” отвечал тебе в почтовом ящике, а мне сказал, что Петерб[ургский] фельетон желателен, но в более бойкой и живой форме» (Письмо Ал.П. Чехову, февр. 1887). Интересно, что Картотека “Словаря современного русского литературного языка” (Институт лингвистических исследований РАН) не дает примеров использования этого оборота другими писателями XIX века. В то же время фразеологизм *садовая голова* встречается в XIX веке в говорах, большей частью южно-русских. Таким образом, предположительно можно говорить либо о заимствовании данного оборота из украинского языка, либо о приходе его в литературный язык из диалектов.

Число немотивированных образований, входящих в синонимический ряд “глупый человек”, невелико: *остолоп*, *олух*, *олух царя небесного*,

*балбес, балда, тумак, остолопина, дундук.* Остановимся на слове *дундук*.

Существительное *дундук* известно южнорусским и среднерусским говорам. Оно пришло в литературный язык, возможно, благодаря эпиграмме А.С. Пушкина:

В Академии наук  
Заседает князь Дундук.  
Говорят, не подобает  
Дундуку такая честь;  
Почему ж он заседает?  
Потому что есть чем сесть.

(1835)

Такотреагировал А.С. Пушкин на назначение вице-президентом Академии наук М.А. Дондукова-Корсакова, у которого не было никаких научных трудов и который был обязан своим местом покровительству президента Академии наук С.С. Уварова.

Что касается происхождения существительного *дундук*, то по этому поводу высказываются две точки зрения. Обе они представлены в “Етимологічному словнику української мови” (Київ, 1982. Т. 1; в украинском языке это слово является диалектным). Согласно одной, корень в слове *дундук* славянского происхождения (даются примеры из верхне-лужицкого, сербохорватского, македонского, болгарского, словенского языков). Согласно другой, слово *дундук* заимствовано из тюркских языков, где имеем караимское *теньтяк* “дурак, простак”, *тэнтэк* “дурак, простак”, “нерадивец”, татарское *тинтэк* “дурак”, ногайское, туркменское *тентек* “дурак”, киргизское *тентек* “дурак, шалопай”, чагатайское (староузбекское) *тинтек* “дурак”. В пользу первой точки зрения, на наш взгляд, свидетельствуют также такие образования, найденные нами в диалектах русского языка, как орловское *дундуй* “тупой, несообразительный человек”, рязанское *дундуля* “болван, дылда, верзила, остолоп, долговязый”, новгородское *дундус* “грубый, невоспитанный человек”, смоленское *дундоватый* “неразговорчивый, необщительный”. Заметим также, что в “Этимологическом словаре славянских языков” (М., 1974) находим слова \**duda*, \**dudati*, \**dud(ь)něti*, в той или иной степени связанные с русским *дундук*. Так, по данным этого словаря, в словенском языке *duda* имеет значение “волынка”, “дурак, простофиля”, *dudati* “играть на волынке, дудеть”, “делать кое-как, медленно”, в сербохорватском *дудати* “играть на волынке, дудеть”, “дуть, много пить”. У русского диалектного *дуда* среди прочих есть значения “простейший музыкальный инструмент; дудка”, “дурной человек”. В словаре В.И. Даля у существительного *дуда* находим значения “народное музыкальное орудие у пастухов, ребят, нищих”, “кто дудит, пьет

много воды, браги, квасу”, у глагола *дудить* – “играть на дуде, трубить во что”, “пить много, более о нехмельном напитке”. Лексемы из славянских языков, дающие возможность вывести форму \**dud(ь)něti*, имеют значения “шуметь, греметь”, “глухо звучать”, “бубнить, неясно говорить”. Если учесть сказанное, а также наличие в славянских языках еще и таких слов, как польские *duda*, *dudek* “дурак; простофиля”, болгарское *дунда* “толстая женщина или девушка”, сербохорватское *дунда* “дебелая женщина”, словенское *dónda* “рослая девушка; ребенок, дитя”, украинское диалектное *дунда* “толстяк; бездельник, лентяй; дурак”, русские диалектные *дунда* и *дундук* “толстый человек”, а затем сопоставить эти данные с гнездом слов с корнем -*дунд-* в “Словаре русских народных говоров”, то родство всех этих славянских лексем окажется вне всякого сомнения. В “Словаре русских народных говоров” мы находим у слова *дундук* такие значения, как “бездельник, лентяй”, – “глупый, бестолковый, невежественный, упрямый человек”, “сутуловатый, сгорбленный человек высокого роста”, “толстяк; коротыш, толстяк”, “прозвище”. Глагол *дундукать* означает “дудеть”, а *дундить* – “однообразно и надоедливо говорить о чем-либо; повторять, твердить одно и то же”. Существительное *дундулак* имеет значение “дурак, болван”, *дундучиха* – “уличное прозвище”, *дундырь* – “удар кулаком, тумак”.

Итак, синонимический ряд “глупый человек” является хорошим подтверждением выведенного С. Ульманом общезыкового закона “притяжения синонимов”, согласно которому, понятия, играющие наиболее важную роль в том или ином коллективе, обозначаются большим числом синонимов.

Санкт-Петербург



## ПОЧЕМУ ВРЕТ СИВЫЙ МЕРИН?

*К истокам фразеологизма*

В.Л. ВАСИЛЬЕВ,  
кандидат филологических наук

Причудлива история возникновения фразеологических оборотов, этих застывших “кусочков” образной речи наших предков. Многие устойчивые выражения идут из глубины веков, сохраняя давно выпавшие из речевого обихода слова, грамматические формы, синтаксические конструкции. Большинство фразеологизмов допускает неоднозначные толкования. “Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник” А.К. Бириха, В.М. Мокиенко, Л.И. Степановой (СПб., 1998) суммирует различные версии происхождения устойчивых оборотов, извлеченных из специальной и научно-популярной литературы.

Наше внимание привлекли выражения с именным компонентом *сивый мерин*, происхождение которых трактуется по-разному. оборот *врет как сивый мерин* “нагло, беззастенчиво врет” имеет в словаре как минимум пять этимологических трактовок, близкий ему оборот *глуп как сивый мерин* “очень глуп” – не менее трех. Версий много, но ни одна из них не выглядит вполне убедительной. Вопрос остается до конца не проясненным.

В.М. Мокиенко в статье «О выражении “как сивый мерин”» (Русская речь. 1981. № 4) показал необоснованность связи словосочетания *сивый мерин* с именем офицера царской армии фон Сиверс-Меринга, великого лжеца и фантазера, якобы жившего в Петербурге в начале XIX века. оборот *глуп как сивый мерин* был записан Н.А. Добролюбовым в 1850-е годы весьма далеко от Петербурга – в нижегородских го-

ворах, а родственные ему выражения *врет как лошадь*, *глуп как лошадь* зафиксированы еще раньше, в первой половине XVIII века, в сборниках пословиц А.И. Богданова и В.Н. Татищева (Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX века. М.–Л., 1961), т.е. в то время, когда гипотетический барон Меринг еще не родился. В художественной литературе выражение *глуп как сивый мерин* впервые употреблено Н.В. Гоголем в комедии “Ревизор” в 1836 году.

Все прочие известные трактовки так или иначе исходят из того, что *сивый мерин* изначально относилось к холощеному жеребцу, причем эпитет *сивый* понимается как “седой, поседевший”, или же переносно как “старый”. “Конские” истоки наших оборотов кажутся, на первый взгляд, столь очевидными, что авторы порой не видят необходимости в должной мере их обосновать. Одна из таких версий предложена Н.М. Шанским, В.И. Зиминым, А.В. Филипповым (Краткий этимологический словарь русской фразеологии // Русский язык в школе. 1979. № 12). По их мнению, выражение *врет как сивый мерин* возникло из отношения к старой лошади как к глупому животному. Русские крестьяне якобы избегали прокладывать первую борозду на сивом мерине, поскольку он “врал”, прокладывая ее криво, неверно. Существовало ли в действительности такое почти ритуальное опасение начинать пахоту именно на сивом мерине – неизвестно, авторы не сопровождают свою версию ссылками на фольклорно-этнографические источники. Напротив, все мы знаем пословицу *старый конь борозды не испортит*, которая явно не согласуется с предложенным объяснением.

Нельзя принять предположения В.И. Даля о том, что *врет как сивый мерин* – это искаженное *прет как сивый мерин* (Т. II. Статья “Мерин”). Слова *врет* и *прет* в сочетании со сравнением *как сивый мерин* выявляют совершенно непохожие смыслы, различие которых не могло бы возникнуть из-за простой ослышки.

Следующие два толкования изложены в сборнике М.И. Михельсона “Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии” (СПб., 1901. Т. 1). Согласно одному из них, выражение *врет как сивый мерин* объясняется хвастовством старых людей своими силами, нерастраченными возможностями. Наверное, старого человека хоть в шутку, хоть всерьез можно сравнить и с сивым меринком, однако истоки нашего оборота это допущение все равно не покажут. Второе объяснение, отвергнутое самим М.И. Михельсоном, исходит из предположения о том, что для вождения колеса на мельнице использовали только сивых, старых лошадей; но глагол *врет* при этом нужно трактовать в необычном для него значении “мелет”.

Гипотеза В.М. Мокиенко, представленная в уже указанной статье из “Русской речи”, является наиболее разработанной. Автор прослеживает факты употребления словосочетания *сивый мерин* в старой русской письменности, выявляет народные представления, связанные с мери-



ном. В некоторых пословицах, оказывается, связаны сивая масть лошади и ее старость – *Не в том сила, что кобыла сива, а в том, что не везет; У сивого коня волевая хода*. В ряде других пословиц мерин оценивается пренебрежительно по сравнению с кобылой или конем. Вообще любые кастрированные животные зачастую ассоциируются с глупостью у разных народов. Таким образом, пренебрежительная оценка сивого (старого) мерина, по мнению В.М. Мокшенко, “совершенно оправдывает устойчивое сравнение *глуп как сивый мерин*”, где *сивый мерин* – “это поседевший от долгой и тяжелой жизни холощенный жеребец, потерявший в старости и физические силы, и умственные способности”. В обороте же *врет как сивый мерин* “старый холощенный конь не обманывает, а лишь заговаривается от старости и городит всякий докучливый вздор, как и положено глупому седому мерину. Исходный образ этого сравнения, столь прозрачный вначале, несколько сместился и затемнился из-за семантического смещения глагола *врать*”, который, отметим, в древнерусском языке был известен в значении “говорить вздор, пустомелить” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1976. Вып. 3).

Приведенное объяснение, очевидно, предполагает двоякое понимание словосочетания *сивый мерин* в сравнительной конструкции: в прямом смысле, если уподобляемый мерину человек глуп, и в переносном, если уподобляемый мерину является лугоном или болтуном. Ясно, что оборот *глуп как сивый мерин* действительно оправдывается отдельными представлениями, отраженными в некоторых пословицах и поговорках. Однако сравнение *врет как сивый мерин* в любом случае выглядит довольно необычным.

Выражение *сивый мерин*, обозначающее болтливого старика либо старого человека вообще, вне сравнительной конструкции почти неизвестно. Лишь М.Е. Салтыков-Щедрин, характеризуя тупое, никчемное чиновничество, писал: “...На земское собрание взглянуть полюбопытствовал: все подряд сивое меринье сидит...” (Неоконченные беседы). Перед нами обычный писательский прием – преобразование структуры фразеологизма, в данном случае все того же сравнительного оборота. В народной же разговорной стихии допускается переносное употребление слова *мерин* (причем без атрибута *сивый*), равно, как и слов *лошадь*, *кобыла*, *конь*, *жеребец*, обычно в качестве бранной или шутливой характеристики людей сильных, грубых, крупных, здоровых, порой ленивых и недалекого ума, но отнюдь не болтливых. Скажем, *мерином* в русских говорах могут назвать “высокого, толстого человека” (астрах.), “человека с хорошим аппетитом, обжору” (пск., осташ., твер.), “лентяя” (олон., калуж., тул.), “скупого, злого человека” (олон.), “здорового, сильного человека, который много работает” (калин., тул. – Словарь русских народных говоров. Л., 1982, Вып. 18). Круг состоявшихся сравнений, связанных с лошадьми, обрисовывает в целом

нечто противоположное старческой докучливой болтливости: *здоров как лошадь, силен как лошадь, ржет как конь, прыгает как жеребец, жрет как лошадь* и др. Явно диссоциирует с этим рядом только сравнение *врет как сивый мерин* и совсем уже необычное *врет как лошадь*.

Конечно, и эпитет *сивый* далеко не всегда указывает на слабую, поседевшую от старости лошадь. Скорее он характеризует серовато-сизую, между чалой и серой, масть лошади безотносительно к возрасту. В некоторых речениях *сивый* окрас вообще не заключает никакой оценки: одно из них – хорошо известная сказочная формула *Сивка, бурка, веций каурка*. В других выражениях *сивые* лошади по своим силам и способностям оцениваются примерно так же, как лошади *бурные, серые, саврасые* и прочих мастей: *Люблю сивка за обычай: кряхтит, да везет* наряду с *Люблю серка за обычай: кряхтит, да везет* или *Уходили сивку крутые горки* наряду с *Умыкали бурку крутые горки; Умыкали савраску горки да овражки*.

Нам кажется, что парадоксальная ситуация с “болтливой лошастью” – *сивым меринком* вряд ли прояснена до конца в рамках “конских” версий. Вместе с тем существует возможность поискать разгадку в принципиально иной этимологической плоскости – с учетом этнонимии древних вымерших народностей.

В частности, одна из таких народностей – *меря* – когда-то находилась в соседстве с древнерусами. Кроме блоковой строки “Чудь начудила, да Меря намерила”, что мы знаем еще об этой народности, о самом имени *меря*? Этот финно-угорский (чудский) этнос жил с древнейших времен на территории современных Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и некоторых других областей к северо-востоку от Москвы, а в XVI–XVII веках сошел с исторической сцены, исчез, поглощенный русским народом. Остались немногочисленные упоминания о мере в русских летописях и других письменных источниках, сохранились отдельные географические названия: реки *Мера, Мерьская*, селения *Мерьские Станы, Мерьково*.

На основе скурых языковых свидетельств, преимущественно косвенных, предпринимались попытки более подробно воссоздать историю *мери* и даже реконструировать *мерянский* язык (Ткаченко О.Б. *Мерянский язык*. Киев, 1985), археологи обнаружили немало культурных древностей, предположительно относимых к *мерянским* (Рябинин Е.А. *Финно-угорские племена в составе Древней Руси*. СПб., 1997). Летописный этноним *меря* – собирательное имя, употреблявшееся в единственном числе и обозначающее народность в целом. Имени, которое указывало бы на отдельного представителя народности *меря*, в письменных памятниках не сохранилось, но его легко восстановить с учетом закономерностей этнонимического словообразования. В древнерусском языке был хорошо известен способ образования притяжательных этнонимов мужского рода от собирательных этнонимов на со-

гласный или на -а с помощью суффикса -ин; *русь* – *русин*, *лопь* – *лопин*, *чудь* – *чудин*, *литва* – *литвин*, *мордва* – *мордвин*, *черемиса* – *черемисин*; соответственно, в этот ряд органично войдет и вероятная пара *меря* – *мерин*. Сейчас, правда, в научных кругах используется форма *мерянин*, но она поздняя и, видимо, искусственно созданная уже после исчезновения *мери*, по модели имен на -*анин*, -*янин* (ср. книжное *россиянин*), более привычной и хронологически более поздней.

Итак, мы полагаем, что в оборотах *врет как сивый мерин*, *глуп как сивый мерин* этимологически отражено реконструированное нами этническое имя – название отдельного представителя мерянского этноса.

Эпитет *сивый* (у В.И. Даля – “темно-сизый, серый и седой, темный с сединою, с примесью белесоватого либо пепельного”) в русском языке приложим не только к лошадям, но и к людям. Так, в новгородских народных говорах *сивым* называют и седого, старого человека, и светловолосого человека любого возраста. Словоупотребление типа *сивый мальчик*, *сивая девочка*, *сивый парень* здесь не редкость, вообще *сивый* “светловолосый” является довольно употребительным словом, зафиксировано даже производное существительное *сивяк* – “со светлыми волосами” (Новгородский областной словарь. Новгород, 1995. Вып. 10). Именно это значение *сивый* – “светлый, светловолосый (безотносительно к возрасту)” – мы считаем исконным в выражении *сивый мерин*, полагая, что эпитет в данном случае указывает не на старость, а на характерные антропологические признаки древнего мерина-мерянина. Антропологи сходятся на том, что светлые глаза, ресницы, брови и волосы весьма характерны для финно-угорских (чудских) народов, в том числе и для *мери*. Типичную деталь облика чудского населения раскрывают, в частности, предания о легендарной “чуди белоглазой”, сохранившиеся в севернорусском фольклоре. Кстати, с “чудью белоглазой” иногда отождествляется летописная *меря*. Возможно, что *сивый* по отношению к *мерин* является таким же постоянным эпитетом, как *белоглазая* по отношению к *чудь*.

Слова *глуп* и *врет* в оборотах с *сивым мерином* указывают на непростые взаимоотношения древнерусского и мерьского населения. Хотя в целом процессе поглощения древних чудских этносов русским народом происходил постепенно и спокойно, трения, обиды и конфликты по этническому признаку имели место. *Меря*, как и *чудь* вообще, были для древнерусов прежде всего чужаками, к которым следовало относиться если не с опаской, то по крайней мере с недоверием. Такие представления хорошо отражены в севернорусской духовной культуре. Агеева в книге “Страны и народы. Происхождение названий” (М., 1990) пишет: «Даже воспоминания о нашествии татар слились в сознании населения с образом *чуди* – разбойников древности. В предании, записанном в Архангельской области фольклорными экспедициями МГУ, встретилось понятие “татары – *чудь белоглазая*”. Во многих ме-

стах термины *чудь*, *чухна* получили значение бранной клички, обозначая диких, отсталых, бестолковых людей: вологод. *чухня* “бестолковый дурень”, поговорка “грязный, как чуди”. Каргопольцев дразнили: “чудь белоглазая, сыреды”». Сам этноним *чухна* приобрел пренебрежительный оттенок. Конечно, и представители “чуждыязычной” мери приписывали целый букет негативных качеств, прежде всего глупость (что, разумеется, объективно нельзя признать справедливым). В кругу подобных представлений истоки оборота *глуп как сивый мерин* выглядят совершенно очевидными.

В обороте *врет как сивый мерин* глагол *врет* действительно означал в прошлом “пустомелет, несет вздор”. Если древний мерин-мерянин казался глупым, то и разговоры его оценивались соответствующим образом. Объяснить вздором все, что говорит сивый мерин, было несложно еще и потому, что его финно-угорскую речь древние славяне не понимали. А от непонятности до глупости один шаг: не только древние, но и многие современные люди склонны объявлять непонятное глупым.

Устойчивые сравнения с *сивым мерин*ом, возникшие как отражение древнерусско-мерянских отношений (кстати, в народно-диалектной среде оборот *глуп как сивый мерин* был записан Н.А. Добролюбовым в Нижегородской губернии – на окраине ареала летописной мери), на протяжении веков претерпели существенные переосмысления, внешне ничуть не изменившись. Это обстоятельство было обусловлено утратой этнонима *мерин* в связи с исчезновением народности меря; сами же обороты продолжали существовать. Когда в XV–XVI веках в русском языке распространилось заимствование *мерин*, обозначающее холощеного жеребца (из монг. *mögin*, калмыцк. *mörn* – “лошадь”; подробнее об истории слова см.: Одинцов Г.Ф. Из истории гиппологической лексики в русском языке. М., 1980), устойчивые сравнения с *сивым мерин*ом наполнились совершенно иным содержанием. Теперь в народном сознании они однозначно ассоциировались с лошадьми, причем настолько прочно, что разглядеть смысловую подмену оказалось весьма нелегко.

Длительное бытование устойчивых выражений в устной речи создает фразеологическую вариантность. Не избежали вариантности и сравнения с переосмысленным *сивым мерин*ом. Посредством синонимической замены слова *мерин* на *лошадь* развились вторичные фразеологические варианты *врет как лошадь*, *глуп как лошадь*. Выражение *бред сивой кобылы*, характеризующее совершенно глупые речи, есть не что иное, как преобразованное *глуп как сивый мерин* на основе синонимического замещения в парах *мерин* – *кобыла*, *глупость* – *бред*. Правда, следует отметить, что *врет как лошадь*, *глуп как лошадь* зафиксированы в сборниках пословиц и поговорок раньше, чем соответствующие обороты *врет как сивый мерин*, *глуп как сивый мерин*. Данный факт на самом деле не является достаточным аргументом, отменяющим вто-

ричность, производность вариантов со словом *лошадь*. Просто в силу случайных причин вначале оказались зарегистрированы письменностью онтологически более поздние фразеологические единицы; параллельно существующие исходные единицы опять же случайно оказались замеченными позднее. Относительно поздние письменные фиксации вряд ли многое дадут для разгадки фразеологизмов, имеющих многовековую историю бытования в устной речи.

Таким образом, не исключено, что наш *сивый мерин* – еще один штрих к истории вымершего народа, сохранный тканью русского языка.

*Новгород*



## О синтаксической многофункциональности *И*

В.Г. ЗДАНКЕВИЧ

В предложениях *И* может употребляться как в роли союза, так и в роли частицы и междометия.

Союз *И*

1. **Соединительный.** Употребляется для соединения двух равноправных синтаксических единиц – однородных членов предложения, повторяющихся слов или целых предложений.

*Мой собеседник беспрестанно кивал головой и усмехался.*

*Кругом тянулась степь и степь.*

*День был тих, и солнце ярко сияло.*

*Слышно было, как в саду шагал дворник и как скрипела его тачка.*

2. **Объединительный.** Образует из двух слов интонационное целое для выражения единого понятия, одной идеи.

*Отец и мать (родители), Покупать и продавать (торговать).*

3. **Присоединительный.** Употребляется для присоединения отдельных членов предложения или целых предложений. Соответствует: “да к тому же”.

*Он завален работою, и прескучною. Люди часто посмеиваются над ним, и справедливо. У него было много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Мало ли бывает в голове мыслей, и которые кажутся весьма замечательными.*

4. **В роли противительного.** Соответствует: “но”, “однако”.

*Хотел объехать целый свет, и не объехал сотой доли. Я очень торопился к началу спектакля, и все-таки опоздал. Ты всегда был строг ко мне, и ты был прав.*

5. **Перечислительный.** Объединяет отдельные члены в перечислении или целые предложения, при этом может стоять перед каждым компонентом перечисляемого ряда.

*Мимо бревно суковатое плыло, сидя, и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нём. Работа и мучит, и кормит, и учит. По улицам двигались тяжелые грузовики, и мчались легковые машины, и шли пешеходы. И запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Учитите, и что он сказал, и как он это сказал.*

6. **Результативный.** Находясь в середине предложения перед сказуемым, подчеркивает внутреннюю связь с предшествующим сообщением.

*Этим разговор и кончился. Пошел он в лес за грибами и заблудился. Солист запел, зрители так и замерли.*

7. **Уступительный.** Соответствует: “даже”, “хотя”, “хоть”.

*Видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов. Он иногда, и зная слово, не может понять его значение. И мал золотник, да дорог.*

8. **В оборотах, содержащих причину и следствие.** Соответствует “поэтому”.

*Троллейбуса я не дождался и пошел пешком. Потемки все более сгущались, и предметы теряли свои контуры.*

9. **При наличии действий, быстро сменяющих друга друга.**

*Еще напор – и враг бежит. Полчаса на отдых – и за работу!*

10. **Образующий парные группы членов.**

*На вольном просторе шум и движение, грохот и гром. Мины рвались и близко и далеко, и справа и слева.*

11. **В устойчивых оборотах речи, образующих тесное смысловое единство, во фразеологических оборотах.**

*Ехать под вечер и прохладно и приятно. Часы идут и день и ночь. Пришли и стар и млад.*

Частица *И*. Усиливает, подчеркивает, выделяет значение слова, перед которым стоит.

1. Соответствует частице *же*, а в вопросительных предложениях приближается к наречию *неужели*.

*Об этом событии именно я и говорил тебе. И охота тебе заниматься пустяками.*

2. Соответствует: “также”.

*Гость молчал. Молчал и хозяин. Я уезжаю, как и вы, в Москву.*

3. Соответствует: “даже”.

*Орлам случается и ниже кур спускаться; но курам никогда до облак не подняться. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола.*

4. Соответствует: “уж”, “хоть”.

*– Чай не мало денег на деток в год-то, сударыня, истрясеешь? – И не говори!*

Междометие *и*, *и-и*, *и-и-и* (односложное или протяжное).

*– Я три тарелки съел. – И полно, что за счеты!*

*– Много, чай, старушка, исходила? – И, милые, где-где я ни была!*

*– Мне страшно, дружок. – И-и, какой вздор!*

*– Таких делов наделал... и-и-и!..*

## А.М. МОЛДОВАН. “Житие Андрея Юродивого” в славянской письменности

Отечественная традиция издания и изучения памятников древнерусской письменности имеет более чем двухвековую историю. На протяжении этого времени менялись приоритеты исследований, жанры, претерпевали изменения инструментарий и методология научной деятельности. Но одно свойство все же оставалось постоянным – неподдельный, живой интерес к русской культуре, ее традициям и древним связям, которые, как известно, хорошо прослеживаются в текстах оригинальных памятников письменности.

Выпущенная издательством “Азбуковник” книга А.М. Молдована «“Житие Андрея Юродивого” в славянской письменности» (М., 2000) гармонично вписывается в руло национальной традиции исследования древнеславянских переводов. Причем специфика такой работы заключается не только в издании самого текста, но и в сравнении его многочисленных списков и выяснении специфики “перехода” византийского варианта в древнерусский текст.

В первой части – «Греческий оригинал “Жития Андрея Юродивого”» ученый исследует проблему авторства, времени написания и композиции текста, а также говорит о греческих прототипах древнерусского перевода.

Вторая часть монографии рассматривает текстологию и язык древнерусского перевода. Автор обращается к археографии вопроса и сообщает, что в настоящее время известны «более 240 славянских рукописей, в которых содержатся полные списки или отрывки нескольких славянских переводов “Жития”». Древнейший относится к XI веку (Изборник Святослава 1073 г.). Наибольшее число списков относится к XVIII и рубежу XVIII–XIX вв. Они представлены отдельными рукописями и отрывками, а также в составе различных сборников. Автор отмечает, что в ряде рукописей имеются записи, свидетельствующие о принадлежности текстов “монастырским и церковным библиотекам, духовенству различных санов...”, а также фиксируются впечатления от прочитанного. Как и другие исследователи (В.П. Андрианова-Перетц, А.М. Панченко, В. Сахаров), автор считает, что “Житие” “способствовало популярности идеологии юродства на Руси”, а происхождение рукописей древнерусского перевода и мест их активного переписывания “в основном совпадают с географией распространения на Руси юродства”. Прежде всего, как известно, это территория русского Северо-Запа-



да, а “в старообрядческой среде вплоть до XX в. на его основе создавались замечательные по художественным достоинствам богато иллюстрированные рукописные книги”.

При работе с текстом ученый использовал “метод сплошной выборки разночтений списков на отдельных участках текста”, учитывал “текстологически значимые варианты” на лексико-грамматическом уровне.

Автором приводится «Стемма списков древнерусского перевода “Жития Андрея Юродивого”», составленная на основе 30 списков XIII–XVI веков и 12 списков XVII века. На основе сравнения вариантов и разночтений рукописей А.М. Молдован приходит к выводу о том, что “все редакции и текстологические группы списков древнерусского перевода ЖАЮ восходят к двум древнейшим архетипам”. При этом он замечает: «Архетипы 1 и 2 не являются текстовыми редакциями, ибо несколько характерных для них незначительных лакун в тексте, перестановок и т.п. обусловлены не идеологическими причинами, а невнимательностью писцов и желанием редактора слегка “подправить” некоторые выражения». Еще одна трудность состояла в определении принадлежности текста: или соответствующую правку вносил переводчик, или же первый редактор и т.д.

Далее ученый исследует две редакции “Жития”: древнерусскую (Б) и украинскую (В). Первую он относит к времени не позднее начала XIII века. В приведенном сопоставительном анализе архетипа древнерусского перевода и архетипа редакции Б хорошо прослежены лексико-словообразовательные замены. Эти трансформации, с одной стороны, позволяют судить о принадлежности настоящей редакции древнерусскому периоду, с другой – говорить о стилистической дифференциации слов, т.е. “какие слова в XII–XIII вв. осознавались как региональные, устаревшие, просторечные или редкие, какие утрачивали свои древние значения или изменяли стилистические характеристики”. Автор отмечает нормативный характер лексических замен и полагает, что “совокупность подобных лексико-словообразовательных замен позволяет оценивать направление эволюции церковнославянской лексической нормы в житийно-повествовательных текстах XII в. по отношению к XI в.” И далее: “Наблюдаемая в них тенденция к исключению региональных, устаревших и т.п. слов и стремление избежать конкретности, как бы сузить лексическую палитру до наиболее общих, тривиальных церковнославянских слов и словообразовательных моделей... указывают на переориентацию в XII–XIII вв. древнерусских житийно-повествовательных жанров на лексические нормы текстов более высокого ранга”.

Украинская редакция (в стемме обозначена литерой В) отличается от других редакций, по мнению А.М. Молдована, стремлением “улучшить” текст древнего перевода добавлением в него пространных рассу-

ждений, поучений и толкований и украсить стиль многословными оборотами в духе “плетения словес”. Древнейшая рукопись этой редакции датируется первой четвертью XV в. Ученый отмечает и другие особенности Украинской редакции: “лирические отступления” редактора, его пунктуальность при цитировании библейского текста, наличие в структуре памятников большого количества фонетических и грамматических украинизмов типа *дробыти* (*дробить*), (*в*) *билахъ* (*белых*) и др. В целом восточнославянский компонент рукописей этой редакции, как полагает А.М. Молдован, хорошо отражает фонетические процессы: начальное *ou*, полногласие, написания с гласным перед плавным в сочетаниях типа \*тъгг и т.п.

Другим важным моментом исследования списков Украинской редакции является утверждение А.М. Молдована о том, что она была ориентирована “на устное произнесение”; доказательством этому служит риторический и молитвенный характер вставок, а также постоянного обращения к аудитории. А формула обращения к игумену за благословением: *господи, благослови, отче* – говорит об использовании списков “Жития” для уставного чтения в монастыре.

В этой же части автор исследует и другие текстологические компоненты “Жития”. Так, говоря о заглавии произведения и названиях отдельных глав, ученый замечает, что «...их данные ненадежны, так как в принципе заголовки автономны от текста, тем более, что они нередко выполнялись другим писцом – “киноварщиком”». Определяя принципы интерпретации лексических различий списков, А.М. Молдован подчеркивает, что единицами сравнения при этом становятся не списки, а архетипы их текстологических групп и редакций памятника.

Интересным и в научном отношении доказательным выглядит составленное автором книги территориальное распределение лексики списков “Жития”. При этом он обращает внимание на то, что лексические платы должны быть подтверждены данными оригинальных памятников, созданных на данной территории и закрепленных в формах местных диалектов. А.М. Молдован полагает, что «в памятнике прежде всего необходимо выделить и исключить из дальнейшего рассмотрения не только старославянскую лексику, известную по “каноническим” старославянским источникам X–XI веков, но и слова, представленные в более поздних списках памятников кирилло-мефодиевской или симеоновской эпохи». В своих разысканиях в этой части ученый опирается на богатую отечественную традицию изучения древних памятников – на труды А.И. Соболевского, И.И. Срезневского, этимологические и исторические словари, современные труды русских и зарубежных лингвистов, что делает филологическую сторону исследования основательной, продуманной, где традиционное находит воплощение в индивидуальном авторском осмыслении текста. Особенно подробно А.М. Молдован анализирует здесь лексические наблюдения И.И. Срезневского,

подвергает анализу слова, отсутствующие в болгарских источниках и языке. Весьма существенным представляется тот факт, что в ткани “Жития”, по мнению А.М. Молдована, заметное место занимает севернославянская и восточнославянская лексика. Ученый отмечает также слова “неясной территориальной принадлежности”, обращается к интерпретации специфики перевода и его автора.

В заключении теоретической части А.М. Молдован приводит редакции “Жития”, указывает иные произведения, связанные с древнерусским переводом, помещает и другие фрагменты, в частности, южнославянский перевод Апокалипсиса Андрея Юродивого.

Весьма примечательно, что автор дает “Житие Андрея Юродивого” и в древнерусском, и в греческом вариантах, снабжая каждый текст исчерпывающими постраничными комментариями палеографического характера и текстологическими вариантами других списков “Жития” (в книге публикуется древнейший, наиболее авторитетный список древнерусского перевода сочинения конца XIV в.). А.М. Молдован останавливается также и на основных графических, фонетических и морфологических особенностях списков древнерусского перевода.

Добротно изданная книга снабжена Указателем глав древнерусского перевода и его списками, а также обширным перечнем литературы и указателем слов. Приходится только сожалеть, что тираж монографии невелик – 1000 экз.

Как бы ни была сильна лингвистическая мотивация исследования, необходимо помнить еще и о том, что “Житие Андрея Юродивого” имело широкое историко-культурное значение и являлось своего рода каноническим, литературным и общественным сочинением, очень популярным в народе (под его влиянием в XII в. на Руси был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы) и признанным Церковью.

Для филологов, источниковедов, культурологов исследование А.М. Молдована ценно прежде всего тем, что представляет собой тщательный текстологический анализ списков “Жития”, выявляет особенности лексического варьирования и территориальной принадлежности перевода. Наконец, воспроизведение текста на древнерусском и греческом языках позволяет исследователям самостоятельно работать с оригинальным сочинением, а значит, находить новые, полезные и ценные для науки факты.

**О.В. Никитин**

## И.Б. ГОЛУБ. Основы красноречия

Красноречие в филологии всегда занимало одно из почетных мест. Недаром Аристотель говорил, что “достоинство речи заключается в ясности”.

Проблема отбора, обработки и нормирования языкового материала составляет важнейший аспект “Основ красноречия” И.Б. Голуб – книги, выпущенной Издательским домом “Яхонт” в 2000 году. На взгляд автора “важнее всего содержательность речи. Точность, ясность и простота речи составляют достоинство любого произведения и выступления. Уместность речи следует оценивать в соответствии с требованиями различных стилей русского языка”.

Автор книги показывает, что норма опирается не только на правила и законы грамматики, но и на исключения из этих правил и этих законов, так как в норме происходит отбор того, что уже либо имеется в языковой системе, либо находится в ней только в виде потенции. Логическое построение повествования книги начиная от понятия “красноречие”, его значения и основ, помогает читателю проникнуть в тайны красноречия.

Повысить речевую культуру, научиться правильно и красиво говорить и писать – вот основная задача книги. Для тех, кто хочет овладеть секретами хорошей речи, избежать стилистических ошибок, книга станет поистине справочником, где можно найти рекомендации по всем сложным вопросам относительно языка, то есть его умелого использования: “Точность и ясность речи взаимосвязанны. Однако о точности высказывания должен заботиться говорящий (пишущий), а ясность оценивает слушатель (читатель). (...) Возможность по-разному объединить слова в словосочетаниях порождает двусмысленность: *Учителю приходилось многое объяснять* (объяснял учитель или ему кто-то объяснял?); *После возвращения рукописи в редакцию поступили новые материалы* (рукопись вернули в редакцию или в редакцию поступили новые материалы?)”.

Неиссякаемы богатства русского языка, но как правильно их использовать? Автор отвечает на этот волнующий читателя вопрос в доступной и увлекательной форме, рассказывая о важнейших требованиях к стилю изложения, описывая нормы устной и письменной речи, показывает, как достичь точности и ясности, логичности и информативности фразы, избегая распространенных речевых ошибок: “Самый первый критерий богатства и бедности речи – это количество слов, ко-

торые мы используем. Задумываясь о богатстве русского языка, нельзя упускать из виду и стилистику частей речи. Умелое их использование открывает широкие возможности усиления эмоциональности, яркости речи". Русский язык богат синонимами, антонимами, омонимами и паронимами, многозначными словами, стилистические возможности использования которых неисчерпаемы, и автор показывает это: "Сравним значения и стилистическую окраску синонимов в таких отрывках из художественных произведений: И я пойду, пойду опять, пойду бродить в густых лесах, степной дорогою блуждать (Я. Полонский). ...Контрастные слова, как и обозначаемые ими понятия, не только противопоставлены, но и тесно связаны между собой: слово *добрый* вызывает в нашем сознании слово *злой*. *Далеко* напоминает о слове *близко*, *ускорить* – о *замедлить*".

Книга "Основы красноречия" написана доступным языком и легко воспринимается в качестве диалога с автором. По своему построению и изложению она напоминает лестницу: от простого к сложному (начиная с рассказа о понятии и значении красноречия и заканчивая рассказом о логичности речи).

Эта книга поможет формировать стилистические навыки тем, кто стремится обогатить свои знания в области языка и литературы, а значит, повысить речевую культуру, овладеть секретами ораторского искусства: «Бесцветной и скучной нашу речь делают заученные, сухие фразы, "чужие" слова, "зашлепанные многими губами". А ведь еще Петр I в своем Указе 1721 года учил не "по бумажке" говорить, а "точно своими словами". (...) Для успеха выступления оратора существенное значение имеет выразительность речи, которая достигается четким, ясным произношением, правильной интонацией, умело расставленными паузами. Особое внимание следует уделять темпу речи, силе голоса, убедительности тона, а также требованиям ораторского искусства: позе, жестам, мимике».

Книгу И.Б. Голуб "Основы красноречия" можно рекомендовать старшеклассникам в качестве учебного пособия при изучении курса риторики, а также всем, кто хочет повысить культуру речи, научиться говорить и писать правильно, красиво, убедительно, то есть овладеть всеми секретами ораторского искусства и получить необходимые советы при изучении сложных лексических и грамматических тем.

**М.В. Недзельский**